

РУССКИЕ
ПОВЕСТИ
XIX ВЕКА



Николай Иванович Наумов

Юровая

В последней трети XIX века русская литература достигла блестящего расцвета. Лев Толстой и Щедрин, Достоевский и Островский, Глеб Успенский и Гаршин, Мамин-Сибиряк и Лесков, Короленко и Чехов создали в своих произведениях широчайшую панораму русской жизни, раскрыли ее "внутренние пружины", показали трагизм положения народа, доведенного до крайней степени нищеты и несправедливости. Рядом с прославленными представителями русской литературы работали так называемые "второстепенные" писатели. Они не только развивали тенденции своих великих предшественников — классиков реализма, но были инициаторами разработки новых вопросов, выдвижения новых героев, новых принципов художественного изображения.

В настоящее издание вошли произведения И.А.Салова, А.О.Осиповича-Новодворского, Н.И.Наумова, Н.Н.Златовратского, С.Н.Терпигорева, Г.А.Мачета. Завершают издание примечания с биографической справкой.

Содержание

#1	0005
ПРИМЕЧАНИЯ	0139
Николай Иванович Наумов (биографическая справка)	0139
ЮРОВАЯ	0143

Юровая

В декабрьский вечер в чисто прибранной крестьянской избе сидело трое собеседников. Двое из них, люди довольно пожилые, имели степенный, солидный вид; дышащая молодостью наружность третьего отличалась, напротив, неутомною подвижностью, разлитой не только в лице его, но и во всей фигуре. Особенно не знали покоя руки, то свивавшие на палец концы пояска, надетого сверх рубахи-косоворотки, или крутившие в жгут полы ее, выпущенные поверх тиковых шароваров.

На столе перед ними, среди чайной посуды и тарелок с пшеничными калачами, оладьями и блинами, ворчал, пуская густые клубы пара, объемистый самовар, называемый в простонародье "купеческим", а вставленные в деревянные подсвечники сальные свечи, ярко освещая лица присутствующих, бросали на выбеленные стены массивные тени от сидящих и от самовара с стоявшим на конфорке его чайником.

— Ты, Семка, был у Ивана-то Николаича? — обратился один из пожилых собеседников к молодому парню, перетирая полотен-

цем выполосканные стаканы и блюдца.

— Был! — порывисто ответил Семка, точно безотлагательно спешил куда-то, но его задерживали этим вопросом.

— Чего ж он поговорил с тобой, а?

— Говорит, что ноне они сами набрались ума, — ответил он.

— Откедова ж это?

— Не сказывал!

— А тебе бы и спросить: давно ль, мол, это мужики с умом справляться стали; допрежь, мол, такого и слуху не было?

— Обчеством, говорит, положили!

— Умом-то жить? — прервал он.

— Ну, нас, говорит, ноне на кривой кобыле не объедешь, сами трахт знаем!

— А-а... Ну, сивого жеребца припасем; этет порысистей будет! — с иронией заметил первый.

— Петр Матвеич, ты слушай-ко, чего он показал-то мне? — прервал его Семка, быстро повертывая стоявший около него подсвечник, не замечая, что горячее сало каплет на скатерть.

— Как мужиков-то объезжать?

— Прут!

— Пру-у-ут? — удивленно протянул в свою очередь Петр Матвейч. — О-о! Мирон Игнатъич, слышь, мужики-то? — произнес он после короткой паузы, слегка толкнув облокотившегося на стол и дремавшего под воркотню самовара Мирона Игнатъича.

— Взял пруток, — продолжал между тем Семка, — и кажет мне: вишь, говорит, один-то его я и пальцем сломаю, а коли, говорит, метлу возьму, то и топором не сразу разрубешь! Так и вы, говорит, порозь-то каждого из нас объедете, как кому требуется, а коли мы, говорит, таперя купно, обчеством, так попоте-е-ешь уломать-то нас! А ноне мы, говорит, цену-то на рыбу будем класть, мы будем господа-то, а не вы! Тряхнул энто шапкой, да и говорить боле не стал!

— Вон оно, времена-то, а?.. и мужики заговорили! — насмешливо сказал Петр Матвейч, внимательно выслушав рассказ его. — Ну да поглядим, как оно по притче-то выйдет, кого объедет, — говорил он, снимая с конфорника чайник и разливая в стаканы настоявшийся наподобие пива чай. — Поглядим, —

повторил он, — надолго ль хватит мужичьего-то ума; у мужика-то передний ум до первого горя, а прихватит оно — и пойдет охать, да ахать, да затылок чесать... успе-е-ем!

— Напустить бы наперво на них мелочь-то! — замолвил Мирон Игнатьевич, дробя пальцами сахар на мелкие куски.

— Зачем?

— Спесь-то сбивать!

— У мужика-то спесь что у пса шерсть: не стриги — сама вылезет! — заметил ему Петр Матвеич.

— Проживаться б не довелось.

— Первее всех уедем! — авторитетно успокоил Петр Матвеич.

Наступило молчание, прерываемое по временам мерными отдуванием горячего пара с блюдца, аппетитным прихлебыванием наливаемого на них чая да звонким раскусыванием сахара.

— Наша-то мелочь, — облокотившись на стол, начал Петр Матвеич, когда первый аппетит его был удовлетворен, — и без травли полезет к ним, а ты только молчи, будто не за рыбой ехал; мелочь-то они и отобьют от себя

своей спесью; она и пойдет скупать по фунтам да полупудкам у наезжих и израсходуется; на гуртовой-то скуп рыбы у ней и капиталу не хватит, а ты зна-а-ай молчи, говорю, да складывай товар, будто в обратный собираешься... Понял? — внушительно спросил он.

Мирон Игнатьич, прищурив и без того узенькие глаза, вместо ответа молча помял губами.

— Ну-ко, Семка, чего выйдет, тряхни-ко передней-то половицей, а! — весело обратился он к нему.

— Уедем!

— Затем и ехали... Да с чем уедем-то? Ответствуй.

— С товаром! — ответил он, так же понизив голос, как понижает его ученик, не знающий урока и произносящий на вопрос учителя первое попавшееся на ум слово. "А ну, дескать, не угадал ли?"

— А ты полагал, я здесь его оставлю, а?

Семка замялся так же, как Мирон Игнатьич, и быстро закрутил в руках оконечности постланной на столе синей скатерти.

— Шали-и-ишь! — отозвался внезапно оживившийся Мирон Игнатъич, придвигая к нему опорожненный стакан. — Коль мужик на упор пойдет, и на деньги не купишь, не токма христа-ради возьмешь. Не-е-ет, не таковские они!

— Не куплю? — И Петр Матвеич, угрюмо насупив брови, в упор смотрел на него.

— И я не первой год с ними вожжаюсь, — продолжал Мирон Игнатъич, не отвечая прямо на вопрос собеседника, — энтот-то мужик сам без шила бродни шьет. Да-а, может и купишь, поставишь на своем, коли все деньги выгрузишь, а уж чтоб он пришел те кланяться, возьми-де христа-ради, — не-е-ет!

— Придет, слышал ты это слово мое?

— Давай господи!

— И накланяется, в ноги накланяется! Что ты супротив этого можешь, а?..

— Подавай, говорю, господи... мне-то что ж? — уклончиво ответил Мирон Игнатъич, хотя мелькающая улыбка осязательно говорила, что сомнение его нисколько не рассеялось от доводов Петра Матвеича.

— А я вот так таперича полагаю, — с рас-

становкой начал Петр Матвеич, слегка покачав головой, — что с темным человеком обзвонных делах слова терять, что в поле ветер имать — все единственно. А чем бы, значит, бобы-то тебе разводить, пошел бы, на мой ум, доглядеть за Авдеем, правое слово!

— Доглядим, не уйдет! — обидчиво ответил Мирон Игнатъич.

— Слышал я сызмальства, что у мужика раз водопольем плотину сорвало; снесет, говорят ему, мельницу-то! Не сне-се-е-т! Подпорка, говорит, есть... О-ой, снесет, кричат... А он одно твердит: не-ет! А опосля: а-а-а-ах да о-о-о-ох, стой, лови!.. а там уж одни щепы...

— Это в мой огород, а?..

— В чей попадет, — сухо ответил Петр Матвеич, — занарок не метил. А ты, Семка, налил брюхо-то аль нет? — обратился он к Семену, когда Мирон Игнатъич, молча встав с лавки, надел полушубок, запоясался и, сняв с гвоздя шапку, вышел.

Семка вместо ответа стал спешно выхлебывать с блюдца чай.

— Не жгись, пей путем!.. кипяток-то не куплен!.. Сбегай-ко ужо, говорю...

Порывисто опрокинув опорожненную чашку на блюдце и положив на доньшко ее обгрызенный кусок сахара, Семка выскочил из-за стола и побежал к двери.

— С узды тебя спустили, а? — строго остановил его Петр Матвеич. — Вот эк-то ты во всяком деле! Ты наперво выслушай, куда идти, зачем идти, да потом уж показывай, какими гвоздями у тебя закаблучья-то подбиты! — точил он озадаченного Семена, остановившегося среди комнаты. — Сбегай-ко, говорю, к Ивану-то Николаеву да скажи ему: Петр Матвеич сам, мол, ждет тебя беспременно. Слышь? да что промеж нас в разговоре было — ни-и-ни чтобы.

— Я-то с чего? — оправдывался Семен, опустив глаза в пол и крутя в руках подол своей рубахи.

— То-то, смо-отри! Язык-то у тебя на живу нитку сметан. Скажи, что беспременно ждет: всякие, мол, дела оставил, дожидается! — заключил Петр Матвеич.

Но последние слова его долетели до ушей Семена за порогом.

Оставшись один, Петр Матвеич раскрыл

поддержанный дорожный погребок, надел на глаза очки в толстой серебряной оправе и, приблизив к себе свечи, стал медленно разбирать сложенные во внутреннем ящике его расписки. Всмотревшись в этот момент в наружность его, когда он весь изображал внимание и когда падавший прямо свет ярко обливал открытый лоб его, прорезанный морщинами, клювообразный нос и тонкие, сухие, с бледным отливом губы, — нельзя было не прийти к мысли о меткости народных выражений: "едок", "жила", "грабля", характеризующих подобные личности. На черством, холодном лице его не пролегало ни одной мягкой черты: оно, казалось, застыло на одной первенствующей мысли, и никакое иное чувство, если бы и рождалось оно, не могло бы отразиться на нем, проникнуть сквозь эту нарощую от времени кору. И наружность и характер Петра Матвеича были хорошо знакомы крестьянам и инородцам тобольского и березовского округов. Каждую весну он оснащивал два павозка [1] и отправлял на них своего шурина Мирона Игнатьевича Ивергина, служившего у него в качестве доверенно-

го, и племянника Семена по деревням, лежавшим по Иртышу, и на обские рыбные промыслы. На дешевенькие ситцы, платки, бродни и другой мелкий товар, необходимый в быту крестьян, они выменивали рыбу и "задавали" деньги вечно нуждающемуся люду под осенний и "юровой" улов ее. Благодаря подобным задаткам вся лучшая, крупная рыба оставалась всегда за Петром Матвеичем, который, кроме продажи ее в собственной лавке, в г. Т..., где он имел свой дом, — отправлял ее довольно значительными партиями ко времени ярмарки в Ирбит. По первому зимнему пути Петр Матвеич сам объезжал все села и деревни, лежавшие вверх и вниз по Иртышу, для сбора рыбы от крестьян, забравших под улов ее деньги. Должники всегда с трепетом ожидали его приезда. Каждый из них знал, что какое бы горе и нужда ни застигли его, — он не мог рассчитывать на снисхождение к нему Петра Матвеича. "Брал, и отдай!" — твердил Петр Матвеич в ответ на мольбы, слезы и поклоны крестьянина или инородца. А вопиющая нужда все-таки вынуждала этот бедный люд прибегать к нему за деньгами и

отдавать свою лучшую рыбу за цены, не вознаграждающие даже и труда. Так и теперь, только что приехав в село Юрьево, Петр Матвеич первую же свободную минуту посвятил разбору выданных ему должниками расписок. И каких только расписок не мелькало в его руках! "Сиводне ваграфенин день, — читал он одну из них, написанную на клочке толстой синей бумаги гвоздеобразными буквами, — пусталобафский хрисанин и ивфинакен ирмалаифв у мешанина патапа петравешина твацать руплефф всял и абисуюсь ифинакен ирмалаив руку прилошил". Печать сельского старосты скрепляла подлинность расписки. Отметив в записной книжке цифру долга, Петр Матвеич отложил прочитанную расписку в сторону и взялся за новую и, приблизив ее к свету, хотел читать, но в это время дверь распахнулась, и в комнату вошел пожилой крестьянин в новом казанском полшубке. Петр Матвеич поднял голову и, пристально посмотрев на него, снял очки.

— Спеси-ив стал, и не зазовешь: видать, денег много скопил? — с иронией спросил он, пока вошедший крестился на икону, висев-

шую в переднем углу.

— Мужику ль деньги копить! — ответил он.

— А кому ж бы и копить, как не мужику, а?

— Торгующим! Не сеют, не жнут, а сама денежка копейку родит! Здравствуй-ко, Петр Матвеич! — заключил гость, пожимая протянутую руку. — Чего по мне-то заскучал, а? — спросил он, садясь на лавку. — Прибежал это твой-то Семен Платоныч в попыхах таких: ждет, говорят, безотменно. Ну, дай, думаю, пойду, чего стряслось! Побаловать приехал к нам, а?

— Потешу вас, куда вас деть-то!

— И себя-то, поди, не забудешь утешить-то, а?

— Завязал же узелок на память!

— А-а, короче стала?

— С вашим-то братом скоро и последнюю отшибет; вишь, грехов-то, — промолвил хозяин, захватив пачку расписок и показав гостю, — запомни-ко все-то!

— И всё на мужиках?

— Боле их некому в карман-то насолить... Слыхал, и ты собираешься, и-и по-приятель-

ски?

— Вестимо, лучше приятеля никто в карман не плюнет! Только я-то бы чем же это повинен, а?

— Слыхал, что мужиков учишь рыбы нам дешево не продавать?

— Эвона какой грамоте!

— И с притчами по писанию!

— Это я-то будто учу-то их?

— Все, ты, ты, говорят, Иван Николаев!

— А-а-ах он, этот Иван Николаев, а? — шутиливо произнес посетитель. — Ну-у, попадись он мне, старый хрен, я ему седые-то вихры завью-ю!

— Завей-ко, завей!

— И то ись в лучшем виде! — И на широком открытом лице гостя, обрамленном седою бородой, выразилась неуловимая ирония. Трудно было определить, выражала ли она только насмешку или служила маской для прикрытия угаданной действительности. Петр Матвеич, прищутив глаза, пристально смотрел на него, желая проникнуть в настоящий смысл его неопределенного выражения, но Иван Николаич, не изменяя себе, с спокой-

ною самоуверенностью выдержал взгляд его.

— А я ишо сдуру-то и гостинец привез! — произнес Петр Матвейч, все так же пытливо продолжая смотреть на гостя и слегка барабанила пальцами по столу.

— Ивану-то Николаеву?

— Ну... ну... сычу-то этому!

— Я бы на твоём месте и ковша-то воды б пожалел ему, и ей-богу!

— То-то я не в тебя... добрый!

— Уж помилуй господи: кабы все-то в тебя были, чего б и было, — ответил гость с тою же неопределенною иронией в лице и тоне.

— Не худо ли, скажешь?

— Пошто худо — хорошо-о... только заживо бы, говорю, хоронись!

— От добра-то?

— От добра! — утвердительно ответил Иван Николаич. — Ведь всякий добр-то на свой аршин, Петр Матвейч; а не нами ишо сказано, что у мужика-то аршин супротив купеческого вдвое длинней: вот оно мужику-то добром-то за добро платить и убытошно!

— Не у всех купцов-то один аршин! Не обмерься!

— Обмер на свой счет приму... Не купец — на чужой не прикину!

— Начистоту будем разговаривать-то, что ль? — спросил Петр Матвеич после непродолжительного молчания, поправляя нагоревшие свечи.

— Вернее будет, а то скрозь мутную-то воду сколь ни смотри, все дна не увидишь! Да ведь твои-то разговоры я зна-аю, — и Иван Николаич в свою очередь пристально посмотрел на хозяина: — к рыбке подбираешься, а? — с улыбкой спросил он, — почем ноне пуд-то думаешь брать?

— Глядя по улову!

— Уловы-то плохи, не рука-а!

— И юровые-то плохи же?

— Не похвалимся!

— А я слыхал, юробой-то супротив лонских годов не в пример избытошен, а-а... правда ль?

— Где ж слыхал-то?

— По дороге!

— Так зачем же к нам-то ехал? Там бы и купил, где сказывали, и, чать, дешево бы отдали, и ей-богу! — с иронией ответил Иван

Николаич. — Аль по нас-то заскучал?

— О-о-ох, Иван Николаич, гре-е-шишь ты! — Петр Матвеич засмеялся неестественным, натянутым смехом, желая прикрыть свое смущение. — Говори лучше по чистоте, — снова начал он, — и уловы хороши, и рыбы хрушкой много, а только хочу, мол, цену набить, поразорить тебя.

— Не грехи и ты, Петр Матвеич: разорять-то уж твое дело, а не мое! — серьезно заметил ему Иван Николаич.

Петр Матвеич побагровел, брови его сдвинулись к переносью, нижняя губа слегка дрогнула, и, прищуриив глаза, он злобно посмотрел на гостя.

— Любопытно бы, кого это я разорил-то? — спросил он, оправившись.

— Счет-то, Петр Матвеич, длинен, что нить у пряжи! — ответил ему Иван Николаич, как бы не замечая его смущения. — Ведь энти все расписочки-то твои, — о-о-о!.. много в них греха! Ты не серчай, я с простоты говорю это! Кого грех-то вот попутал связаться с тобой, тех ты и объегоривай, а наше дело, скажу тебе, особенное, всякому свое добро дорого: выхо-

дит, и вилять тебе нечего, что рыбе в сетях!

— Ай да приятель, удру-жи-ил... спасибо! Выходит, по твоему-то разговору, мне вашей рыбы не видать, а-а?

— За денежки сколько хошь смотри, на то и товар, прятать не будем.

— А что, Иван Николаич, к слову спрошу я: а ну как в наплеванный-то колодец испить придешь, тогда как, а?

— Не пью я колодешной-то, Петр Матвеич!

— Не пье-е-ешь?

— Не-ет! Иртыш-батюшка и поит и кормит досыта, были бы силы; а касательно рыбки-то, так надоть сказать тебе, Петр Матвеич, что с осетринки-то ноне мы будем брать два с полтиной с пуда, с нелемки-то осенней рубль сорок, а с юро-ъвой-то рубль восемь, а с мелочи...

— Круглые ж цены-то, — с иронией прервал его Петр Матвеич. — Кто ж это ценил из вас-то, а?

— Сообча, а покруглей — счет ровней.

— Послышу, и вы арихметику-то знаете ж.

— По суставам доходим-то до нее... да бог милует, не обсчитываемся.

— А-а-а! Ну, на энтог раз по суставной-то арихметике и обсчитаетесь, не продать вам рыбу-то, Иван Николаич, по этим ценам; лучше в засол пустите! — И, слегка посвистав, он встал и, медленно пройдясь по горнице, остановился против Ивана Николаича, сидевшего не изменяя позы. — Брось-ка фальшивить, — продолжал ш, дружески потрепав его по плечу — будем друзьями, а? Услугу я тебе... то ись во-о-от будешь доволен!

— Я и не ссорился с тобой. Что ты? Чего нам делить-то? А касательно фальшу, так ведь по коню и ездок; на миру-то, говорят, Петр Матвеич...

— Много у тебя своей-то рыбы, а?

— Пудов с двадцать наберется!

— Хочешь, я куплю ее по энтим самым ценам на свал,[2] а?

— Одолжишь!

— И ты мне одолжи, сбей цену-то с рыбы, а? Скажи, что осетрину мне продал за семь гривен... а нельму за полтину.

— На обман, значит, идти?

— На то и торговля; свой бы карман был цел, а чужой-то что хоронить... у всякого свой

хозяин — пушшай и бережет его.

— На что ж это тебе-то убытчиться, у меня-то по энтим ценам покупать, а?

— На что? гм... известно, для оборота. Не надоть было, так и не просил бы, а я бабе твоей и ситцу припас... на любованье...

— И бабу-то не забыл, а-а-а!

— А тебе зипун да шапку из смушки — весь завод заглядится ла тебя, а?

— А-а-ах, шут тебя возьми! — с улыбкой произнес Иван Николаич. — Ну-у-у, ахнут мужики-то?

— И-и как ахнут-то! Да не одни мужики, и у баб-то глаза загорят, глядя на тебя!

— Стар, друг!

— У старого-то козла и рог крепок!

— А-а-ах-ха-ха... и-и баловник же ты: видать, не на еловых углях выкован! Ну-у!.. и энти все милости за то, чтобы я тебе по своей же цене и рыбу продал, а?

— Чтоб ты не в убытке был!

— Все это обо мне радеешь, а-а-а?.. Пошли те господи за добро твое! За что же бы это полюбился-то я тебе?

— За ум!

— О-о, да нешто у мужика есть ум-то?

— Эге-е! этого-то добра у иного и лопатой не выгребешь!

— Ди-во! а мы-то в простоте полагали, что бог и им мужика обошел, так неуж ты и взаболь умных-то любишь, а? — наивно спросил гость.

— Не любил бы, и не говорил!

— А на мой глупый разум, тебе бы, Петр Матвеич, дураков-то жаловать; право, объегоривать-то их способней, коли уж на то разговор пошел. Ты вот умным-то меня похвалил, я и загордился; и хороши, в уме-то думаю, посулы твои, да совесть дорога; хоша и говоря-ят, что она у мужика-то через край лыком шита, а все не продам ее ни за какие дары, и выходит, ты обчелся, на ветер похвалы-то кидал!

Нижняя губа Петра Матвеича снова дрогнула, и заметно было, как он стиснул зубы.

— А-а, вот... как ты ноне! — произнес он после непродолжительной паузы, — и это последнее твое слово!

— Последнее-то слово, Петр Матвеич, в смертный час скажется; а вот чтоб ты по сво-

ей цене ноне у мужиков рыбу-то купил — вот этому, говорю, не быва-а-ть.

Петр Матвеич забарабанил пальцами по столу.

— О-ой, Иван Николаич, слушай лучше меня, — со вздохом начал он, — смотри-и, придешь ее сам продавать втридешево... и в ноги поклонись, да опозда-а-аешь!

— И в ноги-то накланяюсь, а-а-а? — с наивным удивлением спросил Иван Николаич.

— Поклонись!..

— Ах, ешь е мухи! а? — развел руками и хлопнул себя по бедрам Иван Николаич.

— Рыба-то с рук не пойдет, поклонись-ся! — тем же тоном повторил Петр Матвеич.

— А не пойдет, и не иди! Гнать не буду... свое брюхо есть...

— А-а, стало быть, сам съешь?

— И съем! для ча утробу не потешить?

— И разъешься же, поглядеть бы.

— Свое-то добро за все впрок! Что ж, не все купцам да барам брюхо растить, пора и мужику его вырастить, пора-а-а, Петр Матвеич, и мужику умом жить, о-ох, пора! Ты вот по своей-то цене ее берешь, мир зоришь; попом-

ни-ка лонские-то годы, когда мы по нашей-то глупости осетрину-то по шести да по пяти гривен пуд отдавали, почем ты в городе-то продавал ее, ну-ко?

— На то и товар, чтоб продавать, — и убытков-то немало, Иван Николаич, немало! Энтот-то товар по спросу.

— А-а-а, по спросу, да каков бы ни был спрос-то, а ты все менее трех с полтиной да четырех рублей не продавал ее! И считай-ко, сколько лихвы-то брал, а? А где ж они, убытки-то твои, какие такие? Кони у тебя свои, на харчи в деревнях не тратишься... и напоят и накормят досыта за одну честь... Так где ж они, убытки-то, ну-ко? Нет, Петр Матвеич, а мой ум, коли ты сам хочешь хлеб есть, так и другим давай и другой, как ты, есть хочет. Твое-то дело приехать, готовое, взять, да ты и тут метишь уторговать у всякого и правдой и неправдой, а мужичье-то дело и денной и ночной работой припасти-то ее. У иного на ловле-то не токмо на обуви, а на теле на палец, на два льду нарастет, о-о! Рыбка-то, она на еду скусна, а полови-ка ее попробуй, и узнаешь, как мужика-то на морозе пот с кро-

вью прошибает! Так за что ж нам на чужие-то карманы иго нести, у нас и свои есть — глупы, глупы, а все ума-то наберется... У нас игато и без того много... Мужик-то всех поит да кормит, только его-то впроголодь держат! Мы тебе сколько лет, посчитай-ко, уваженье-то делали, по семи, по восьми гривен пуд что ни есть лучшей рыбы отдавали. А теперь ты нам уважь — по два с полтиной купи ее. Ты вон, вишь, на нашу-то простоту брюшко-то выправил, что у доброй бабы на сносе, а брюхо-то растет, говорят, по карману, в кармане тонко, так и брюхо тоще; так теперь и нам дай его выправить-то, и любовное дело будет. А не хошь, и бог с тобой — другой купит, а деньги-то от кого ни брать — все единственно, был бы карман, куда класть.

Сила убеждения, с каким говорил Иван Николаевич, сказывалась не в одном тоне голоса и словах, она отражалась и в блеске больших серых глаз и в ярком румянце, разлившемся от внутреннего волнения на лице говорившего.

— А уж кланяться, — продолжал он, — я не пойду к тебе: устарел, устаре-е-ел, Петр

Матвеич, и смолоду не кланялся, а уж под старость-то не буду навывать! — заключил он, взявшись за шапку.

— Ну, Иван Николаич, давай же тебе бог богатеть да жиреть! — с злой иронией ответил Петр Матвеич, упорно молчавший все время, пока говорил он. — Не забывай, коли понадоблюсь, не ровен час!

— Нас-то, грешных, прости, коли согрубли что с простоты-то!

— Ну, от простоты-то твоей, — произнес Петр Матвеич, провожая гостя к дверям и хлопывая себя по затылку, — в кровь расчесешь!

— О-о-о! Ну, и мужики-то сказывают, что на этом же месте от купеческой-то правды у них коросты растут! — ответил он, улыбаясь и взявшись за скобу двери. — Ну, прости же, коли чего, приходи, потолкуем! — говорил он, выходя за дверь.

Проводив гостя, Петр Матвеич в раздумье поправил нагоревшие свечи и медленно прошелся по комнате. "А-а-а!.. мужик... заелся... по-о-остой!" — дрожащим голосом процедил он сквозь зубы и, отворив дверь, крикнул:

"Семка-а-а-а, Семка!"

Но утомившийся за день Семка спал на полатях глубоким сном.

Каждую зиму перед Николиным днем пустынная дорога в село Юрьево, или Юрьевский ям, лежащее на берегу Иртыша по Березовскому тракту, оживляется от съезжающих в него на ярмарку торговцев и крестьян. Ярмарка эта, известная под названием "Юрвой", существует в нем с незапамятных времен, постоянно привлекая к себе тобольских мещан, а иногда и купцов средней руки, ведущих обороты в кредит из вторых и третьих рук и скромно называющих себя "торгующими". Вереницами тянутся в эти дни фургоны их, запряженные парюю, иной раз и тройкою сильных, сытых лошадей, нагруженные теми незатейливыми товарами, какими довольствуется не изоцрившее еще своих вкусов сельское население. Одинаково съезжаются и крестьяне не только из ближних, но и далеких от Юрьева сел и деревень, разбросившихся вверх и вниз по Иртышу, с своими произведениями и продуктами окружающей их природы. Мешки сушеной морошки, малины,

черемухи, кедровый орех, мелкие засоленные в кадках грузди, березовики, связки сушеных белых грибов, бочки с брусникой и клюквой виднеются на каждом возу. Иной мужичок привезет на нее штук сорок беличьих и заячьих шкур, не в редкость увидеть и волчьи и чернобурые, медвежьи. Трудолюбивое женское население привозит на эту ярмарку тонкие льняные холсты, не много уступающие в чистоте и прочности лысковским, полотенца, узорно вышитые по краям разноцветною белью, грубоватые по отделке, но прочные настольные скатерти, пологи, половики и особенно рыболовные мережи для мелких сетей и крупных неводов, вязанье которых составляет один из главных женских промыслов тобольского и березовского округов. Из иного воза торчат и поднятые вверх ноги свиных туш и объемистые связки белых дородных гусей. Из деревень, расположенных в более лесистой местности, тянутся воза с дугами, раскрашенными баканом, охрой и ярью, и с различною деревянною посудой. И чего не встретит на этих возах любопытный наблюдатель, начиная с корыта и кадки и кончая узорно

выточенной ложкой с резким запахом лака! Щеголевато выглядывают из них вместительные жбаны под квас, расписанные цветами и плодами, над классификацией которых призадумался бы и опытный ботаник. Выточенные в виде бочонка, барана или пузатого карася солонки и большие круглые чашки для щей развозятся скупающими их торговцами не только в соседние округа, но и в смежную Томскую губернию. И на каждой чашке грамотный покупатель прочтет замысловатую надпись, сделанную сусальным золотом, вроде следующих: "Сядишь за миня не зевай, ложку языком дасуха абтирай", "Налешъ вминя густо, не будет в брюхе пусто!" или "Паефши изминя досыта, памой и меня дочиста" и тому подобные выражения народного юмора.

Но главный продукт Юровской ярмарки, привлекающий к себе городских торговцев, — рыба, богатое даяние пустынной Оби и Иртыша, щедро вознаграждающее местное население за недостаток других промыслов. Крупный осетр, чалбыш, жирные стерляди, нельма, муксун, не менее крупная щука, налимы, окуни, ерши. Весь летний и осенние уловы ее

всецело идут на эту ярмарку, и особенно прибыльный улов, начинающийся с первых дней рекостава еще по неокрепшему синеватому льду, который трещит и гнется под ногою ловца. Название этого улова "юровой" время и привычка присвоили и самой ярмарке. Производится он "самоловом", снарядом самого простого устройства: на длинной толстой бечеве с тяжелым камнем, навязанным на конце ее, прикрепляются на коротеньких бечевках, в близком расстоянии одна от другой, железные крючья в форме удочки. Обыкновенно с первыми заморозками рыба, и особенно крупная, ложится на дно глубоких ям, и слои ее, называемые на языке рыболовов "юрами", бывают до того густы, что нередко наполняют ямы от самого дна до верхних окраин, и часто случается, что нижние слои рыбы задыхаются от давления верхних. В эти-то ямы, наперечет известные рыбопромышленникам, в продолбленные над ними проруби и забрасываются самоловы: встревоженная камнем рыба начинает шевелиться и, задевая за острые крючья, попадает на них. По колебанию бечевы рыболов замечает о степени улова и, мед-

ленно вытягивая ее из воды, ссаживает почти с каждого крючка добычу, зацепившуюся хвостом, плавниками или жабрами. Иногда в течение недели этот благодарный промысел окупает годовые потребности крестьянского семейства.

Дня за два до ярмарки по единственной проезжей улице села тянется ряд балаганных остовов, сколоченных из тонких жердей. Подобные остовы, я думаю, хорошо знакомы каждому, кому доводилось посещать сельские ярмарки, или "грошовые передряги", как насмешливо называет их более капитальное купечество, посещающее Нижний-Новгород и Ирбит. Это высшее торговое сословие с презрением относится и к тому небогатому люду, который раскладывает свой товар под сенью балаганов, прикрываемых от непогоды грязными холстинами или цыновками. Первое место на узеньких полках всегда занимают ситцы, гарусные шали, ленты, полушелковые головные платки ярких рисунков и цветов, но крайне сомнительной доброты. Все то, что идет в брак в городских магазинах и лавках, скупается торговцами, разъезжающими

по деревенским ярмаркам, за половинные цены и сбывается простодушным деревенским покупательницам за товар высшей доброты, за цену, вдвое превышающую его действительную, стоимость. Мужские опояски, шапки, опушенные выхухолью, котиком и белым русским барашком, сапоги, известные под названием "кунгурских", войлочные валенки, замшевые рукавицы, расшитые разноцветною шерстью, и простые кожаные, красиво развешанные на шестиках в виде фестонов, привлекают к себе внимание и деревенских франтов и людей солидного возраста, оценивающих товар более по достоинству, чем по внешности. За ними следуют сыромятные сбруи, чересседельники, украшенные медными кольцами и бляхами, какими любят щеголять сибирские крестьяне, плотничьи и кузнечные инструменты и рублевые дробовики и винтовки с кремневыми замками. Парфюмерные изделия гг. Мусатова и Альфонса Ралле, вместе с ситцами, платками, серебряными и медными перстнями и такими же серьгами заставляют сильно биться сердца деревенских красавиц, гуляющих в день ярмарки

около балаганов, которые так же, как и женщины высших сословий, гонятся более за блестящими, нежели за насущной пригодностью вещи. Если включить еще в этот перечень фаянсовую и медную посуду, самовары произведения гг. Тулиновых, с драконовой или львиной головой на конце крана, корковые и жестяные подносы с изображенными на них рыцарскими замками или ландшафтами с купающимися нимфами, бюсты которых превышают объемом своим пропорциональность прочих частей тела, затем различные орехи, шепталу, всевозможных форм и вкусов пряники, то каждый составит себе полное понятие о стоимости товара, о средствах владельцев их и о потребностях и вкусах покупателей. Пока наехавшие торговцы устраивают балаганы, у крестьян идет также деятельная работа: разгружаются возы с навезенными продуктами, рыба сортируется по родам и величине и складывается в поленницы. В эти-то дни до открытия ярмарки, продолжающейся всего одни сутки, и свершаются торговые сделки между крестьянами и торговцами. Расхаживая по дворам, торговцы — присмат-

риваются к рыбе

опытным глазом отличая икряную от яловой, безошибочно определяя и количество икры, какое выйдет из каждой, и время улова рыбы. По обилию того или другого рода ее устанавливаются и цены. Но какие цены! Побуждаемые нуждою и всегда действуя порознь друг от друга, крестьяне по необходимости продают ее по ценам, произвольно назначаемые самими же покупателями. Только в описываемое мною время крестьянин села Юрьево Иван Николаевич Калинин убедил своих однодеревенцев не поддаваться на уловки скупщиков и установить свою цену на каждый род рыбы. Мы видели, какое впечатление произвело известие об этом на Петра Матвеевича Вежина, главного гуртового скупщика рыбы.

В простонародье нередко встречаются личности, подобные Ивану Николаевичу; они составляют то отрадное исключение, на котором отдыхает ум наблюдателя, утомленный однообразием типов большинства. В них, как в фокусе, отражаются те могучие живые силы, какие таятся в народе и бесследно исчеза-

ют, не находя в окружающей их жизни благотворного исхода.

Одаренный умом и неисчерпаемым юмором, проявлявшимся, несмотря на старость, в какой-то детской шутливости, Иван Николаевич честностью отношений к людям, доходившей до мелочности, умными дальновидными советами и энергичной стойкостью за интересы своего общества приобрел себе уважение не только однодеревенцев, но всей волости, несколько раз избиравшей его головой. Но он всегда отклонял от себя эту честь под различными предлогами. Как и многие другие выдающиеся из народа личности не минуют острога, так не миновал его и Иван Николаевич. Рано сказалась в нем эта протестующая, присущая его натуре, сила: еще в молодости он принял на себя ходатайство в деле искоренения злоупотреблений волостных и сельских начальников при сборе с народа податей и денежных и хлебных недоимок и дорогою ценой поплатился за это. Более года он содержался в остроге, и ему угрожала ссылка на поселение в киргизскую степь, но общество поголовно взяло его на поруки, и

его оставили. Но и вынесенный им урок не охладил его энергии, а, казалось, более закалил его. Человек бедный, Иван Николаевич стоял за бедность — все забитое горькою долей находило отголосок в его честной, любящей душе и придавало ему сознательную силу в правоте своих действий. Он находил какое-то упоение в постоянной борьбе то с мироедами, подтачивающими в корне народное благосостояние, то с волостными головами, писарями и сельскими старостами. Ни одно действие их, если только, по убеждению его, оно шло наперекор общественным нуждам, не ускользало от его внимания, вызывая в нем громкий протест, и беспощадно осмеивалось им на волостных и сельских сходах. И боялись же они этого правдивого, безбоязненного голоса! "О-ох, Иван Николаевич, не минуешь ты сызнава острога!" — говорили ему более осторожные крестьяне, привыкшие только уклончиво, махая руками, говорить: "Не наше дело!" И все-таки, увлекаемые его красноречием, они часто, забывая свою осторожность, возвышали вслед за ним и свой голос.

Эксплуатация наезжающих торговцев всегда возмущала Ивана Николаевича; не раз он поднимал против нее свой голос, и все безуспешно, но, наконец, ему удалось склонить однодеревенцев к самостоятельной оценке своего труда, и пред началом ярмарки, после долгой борьбы с рождающимся сомнением у непривыкших к самостоятельности крестьян, он достиг своей цели. Общество, как мы видели, послушало его, установило свои цены и твердо стояло на своем до поры до времени.

— А-а... Евсеич!.. Ну-ну, здравствуй, здравствуй, — покровительственным тоном приветствовал его Петр Матвеевич, снимав с себя лисью шубу и вешая ее на гвоздь у двери. — Не плакал ли по мне, а?

— Слез-то нету..., плакать-то... баба-то была, — ответил тот, кланяясь ему.

— Обо мне-то? — насмешливо спросил хозяин. — А-а! Ну, спасибо!..

— Поминала, шибко поминала! — продолжал Евсеич. — Дай, говорит, ему, господи, ехать, да не доехать!

— О-го-о!.. И то поминала!..

— И в нос и в рот тебе всячины насулила. Да тебе, поди, икалось? — наивно спросил он.

Петр Матвеевич присел к столу и насмешливо смотрел на мужика.

— Нет, не икалось! — ответил он, по обыкновению барабаня пальцами по столу,

— И то ись, а-а-ах, как честила она тебя, понадул ты ее крепко: понява-то, что из твоего ситцу сшита, вся то ись... во-о-о! — произнес он, разведя руками.

— Расползлась?

— По ниточке... мало ль слез-то было, да я уговорил: погоди, мол, приедет ужо, может, на бедность и прикинет тебе чего ни на есть за ушшерб-то.

— За деньги сичас же, крепчай того!..

— За де-е-еньги же, а-а? — удивленно спросил мужик.

— А ты полагаал, даром?

— По душевному-то, оно бы даром надоть. Ведь тоже, а-а-ах, друг ты мой, и бабье-то дело: ночей ведь не спала, робила. На трудовую копейку-то и купила его. "Теперя умру. говорит, похороните в ней..." А оно вон ишло при живности по ниточке, а? Взвоешь!

— На то и товар, чтоб носился... вековешной бы был, так чего б и было!.. И не торгуй!

— И не носила, ни разу не надевывала. Так это, друг, что глина от воды, так он от иглы-то полз.

— А глаза-то где были, когда покупала?

— Вишь, бабье-то дело... На совесть полага-лась...

— И наука!.. Вперед гляди в оба!.. В торговом деле совести нет... И мы не сами делаем, а покупаем!..

— Нау-у-ука!.. Будет помнить! Так уж за ушшерб-то не будет снисхождения, а?.. Одели милость, не обидь, бедное дело-то: слезами баба-то обливалась, ей-богу!

— Гм... А рыба-то у тебя есть, а? — спросил его Петр Матвеевич.

— Не поробишь — не поешь: наше дело такое, промышлял!..

— Много?

— Не соврать бы сказать-то! Пудов-то с семь наберется!..

— Продаешь?

— Хе... Чу-удной! Неуж самому есть?

— Другие так вон сами есть собираются,

брюхо растить хотят.

— А-а-а, наши же мужики? — с удивлением спросил Евсеич.

— Мужики!..

— Не слыхивал, друг. Рази богатым-то, им, точно, брюхо-то нее тяготу, а наше-то дело бедное, нам с брюхом-то мука... пасешь, пасешь на него хлеба, все мало... А-а-ах ты, напасть!.. Ну и прорва! Не купишь ли хошь рыбу-то, а?... и хрушкая есть... Есть и осетрина и нелемки, всякой рыбки сердешной дал бог, промышляли с бабой-то!..

— А как ценой-то за пуд, а?

— За пуд-то?.. Да уж с тебя бы за труды-то, ну и за бабий-то ушшерб надоть бы подороже!..

— Подешевле не хошь, значит!

— Подешевле-то? на-а-кладно, друг, дешево-то отдавать ноне. За подушную-то, гляди-ко, и-и-и дерут, дерут, дадут отдохнуть, да снова подерут!..

— И больно?

— Ничаво-о!.. Под хвост-то не смотрят. Вот оно подешевле-то отдавать и убытошно, говорю!

— Ну-ну, так и быть уж, будто за то, что дерут и бабу-то избидел — по шести гривен с пятаком за пуд-то осетрины дам...

— О-о-ой, милый ты человек! — вскрикнул Евсеич и всплеснул руками.

— И бабе ситцу отпущу!..

— Экую-то цену... да что ты... ай-яй-яй... ну-у... да бог с тобой и с ситцем!.. А-а-ах ты какой дешевый, а?.. Нет, ноне...

Но в это время распахнулась дверь, и в горницу вошел седой как лунь крестьянин. Реденькая борода его имела желтоватый отлив. Его костюм был так же убог, как и костюм Евсеича.

— О-о! и Кондратий Савельич к нашему шалашу со своей копейкой, — встретил его Петр Матвеевич, пока вошедший крестился на передний угол. — Ну-ко, порадууй, порадууй! — произнес он, когда тот молча поклонился ему.

— Не избытошно радостей-то! — ответил новопришедший дрожащим, разбитым старостью голосом. — Сами по них тужим. Иван Вялый да Трофим Кулек к тебе идут, пожалуй, радуйся...

— Порожняком аль с тем же, с чем и ты, а?..

— Да у меня, кажись, ничего в руках-то нет, — с удивлением отвечал, разведя руками, Кондратий Савельич.

— Я не про руки, а про карманы... Карманы-то есть, а?

— Есть... есть... у штанов, друг... Как карманов-то... что ты... к юровой-то исхо новые вшил, — дыроваты были — и вшил...

— А-а... ну, подавай господи!.. Стало быть, есть чего хоронить-то, коли новые понадобились, а? — насмешливо допытывал его Петр Матвеевич.

— А-а-ах, хоронить-то вот рази одни грехи!.. — Кондратий Савельич с глубоким вздохом почесал затылок.

— Эх-хе-хе, так пошто ж новые-то вшивал, нитки-то тратил, а?.. Экое-то богатство и из дырявых бы не вывалилось, а и выпало б, так душе легче... Э-э-эх, старина!

Кондратий Савельич молча развел руками и всплеснул ими по бедрам, как бы говоря: "Толкуй вот-поди, и не понадобились, а вшил!"

— Ху-у-до! — произнес Петр Матвеевич, с

ироническим сожалением качая головой. — А я-то было и расписочку в сторону отложил: Кондратий-то Савельич, думаю, мужик обстоятельный, отдаст, а ты — а-а-а!.. и сфальшивил.

— Не держи-ко меня-то, — прервал его Евсеич. — Отпусти!

— Не привязан! А дверь-то, и сам не маленький, знаешь, как отворять! — с иронией ответил ему Петр Матвеевич.

Евсеич замялся и конфузливо почесал в затылке.

— Я к тому боле, — начал он, — чего, то ись, бабе-то сказать, а?..

— Скажи, пуцдай денег прикопит и придет покупать, без обмеру дам и такого, что иглой не проткнет.

— А уж помину-то по душе не будет, верно?

— Покамест жив — не будет, а умру — поминай, запрету не полагается!

Снова оконфуженный Евсеич повторил тот же жест. — С тобой не сговоришь! — ответил, наконец, он, покачивая головой. — Все бы за ушшерб-то, говорю, следовало... Сам же

ты нахваливал его, как продавал-то...

— Своего добра никто не обхает, милый!..

— По совести-то, оно бы и того-о-о, по крайности... надул... так упомин бы... не за свою душу, за родителей!..

— Ах ты, чудной какой!.. Разве запрещаю: поминай; батюшку звали Матвеем, матушку Апросиньей...

— Так энтэ даром-то?

— А ты б исшо за деньги хотел, а? Рылом не вышел, друг мой, попово дело точно — им за это дают! А коли тебе потребовалось помянуть "усопших рабов", я супротив этого без запрета, дело твое.

— И ндравный же ты, а-а-ах... нехорошо... за родителей бы... на нашу-то нужу прикинуть...

— За энтим в родительскую субботу приди, грошик дам, а теперь не проедайся-ко, иди-ко с богом, неколи толковать.

— А-а-ах, какой ты... ну-у... жила... так жила и есть... и не приходить уж, а?..

— Не приходи, побереги обутки: вишь, подошва-то хлябает, неравно исшо потеряешь — новое горе...

— Ну-у и ругатель! — ответил Евсеич и, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, повернулся к двери и только что взялся за скобу, как она растворилась, и в комнату вошли один за другим два пожилых крестьянина; пропустив их, Евсеич еще постоял в каком-то раздумье, наконец, вздохнув, произнес: "Наду-у-ул, ну-у!" и, почесав затылок, вышел.

Костюмы вошедших, как и костюмы Кондратия Савельича и вышедшего Евсеича, не доказывали зажиточности; из полушубков, вися, выглядывали куски оборванной кожи и цветом своим напоминали выжженную под посевом пашню. Видно было, что весь этот люд принадлежал к разряду "перекатной голи", то есть людей, живущих день за день без просвета в настоящем, без надежд на что-нибудь лучшее в будущем. Одного из вошедших в деревне называли "вялым" за болезненную апатичность, выражавшуюся и в миниатюрном лице, украшенном неправильно рассаженными клочьями волос взамен бороды, и в каждом его движении и слове. Карие глаза другого, с насмешливым, плутоватым выра-

жением перебежавшие с предмета на предмет, доказывали, напротив, и ум и лукавую сметливость. Когда-то в молодости укравши у проезжего купца кулек с припасами и пойманный с поличным, он в насмешку получил название "кулька", с которым до того освоился, что даже позабывал порою свое настоящее имя; когда называли его "Трофимом", он проходил мимо не оглядываясь, но при слове "кулек" улыбался и приподнимал шапку. Насколько был вял и безжизнен Иван, настолько же был боек и нервно-раздражителен Трофим. Обоих их, на удивление всего села, соединяла тесная дружба, точно как будто они взаимно уравнивали недостатки друг друга; даже избы их стояли рядом, разделяемые одним низеньким плетнем. Куда бы ни шел Трофим, Иван следовал за ним как тень. Задолжав Петру Матвеевичу, они оба дали ему одну общую расписку. —

— Слышал, слышал, што вы оба налегке! — насмешливо встретил их Петр Матвеевич. — Об чем же, значит, теперь разговаривать-то будем, а?

— Ты хозяин, за тобой и почин! — ответил

ему Кулек.

— Я ж и начинай, а-а? Ну, деться некуда — начнем: деньгу принесли?..

— Провинились!.. Хошь, казни, хошь, милуй!..

— А божился отдать, как приеду, а?

— Не побожиться да не поклониться — и веры не добыть, такое дело наше, Петр Матвеевич, — со вздохом ответил ему Кулек.

Вялый молчал, прислонившись к стене, точно происходящий разговор и не касался его, а шел о совершенно постороннем для него деле.

— А что божье-то имя всуе, — это ничево, а? — покачав головой, ответил Петр Матвеевич. — Как за это в писании-то, что полагается, а?

Кулек с плутоватой усмешкой почесал в затылке.

— Мало ль чего в писании-то полагается, — произнес он. — Вон в отчей молитве сказано: оставь, говорит, должников своих, да нешто ты их оставляешь, а?.. Каждый, поди, грош на счет!

Петр Матвеевич засмеялся тем покрови-

тельственным смехом, каким любят поощрять высокопоставленные лица удачные ответы лиц, стоящих на низких иерархических ступенях, но подающих надежды дойти до высших; хотя бы даже эти ответы и затрагивали какую-нибудь сторону их характера или деятельности.

— Ну и соба-ака на слово-то! — улыбнувшись широкой, самодовольною улыбкою, произнес Кондратий Савельич. Даже в лице Вялого проскользнуло что-то тоже вроде улыбки.

Кулек молча водил глазами по потолку, как будто не про его и речь шла.

— Так оставь, говорит, должников-то, а-а? — благодушным тоном повторил Петр Матвеевич, когда смех его стих. — А когда ж отдачи-то ждать с них, аль об эфтом не сказано?..

— Справятся, сами принесут!

— А-а-а!.. Ну, этого жди-и-и! Однако ни в какой молитве не сказано, чтобы мужик справился, да сам долг принес. Ты вон и божился отдать, а Кондратий Савельич, то ись, и карманы, говорит, в штаны вшил, а денег все нет да нет!

— Не сами деньги-то делам, и рад бы, друг, отдать-то, да где их возьмем, — с глубоким вздохом произнес Кондратий Савельич.

— И у меня-то вот горе! Завода-то нет, не куют их кузнецы! — заметил ему Петр Матвеевич.

— Сравнил ты себя и нас! — прервал его Кулек.

— Из одного месива-то, а по Христу все братья.

— Братья-то братья-я! И месиво-то одно, да, вишь, не одними рубахами прикрыто: на твоём-то вон ситец, а на нашем-то дерюга, ты и тысячами воротишь, да ох не молвишь, а мы за копейку-то спину гнем-гнем, — хоша жерновом выправляй, а все не в прибыль!

— Послушаю я, на разговор-то ты гладок, да на деле-то никак коряв; ты зачем ко мне пришел-то а?.. Пукеты расписывать?..

— Сосчитаться!

— И считайся! А энти разводы-то к ярманке побереги, — длинна, потреплешь исно язык-то; энти песни про нужду-то вашу я каждый день слышу, и наскучат. Ты вот скажи-ко, деньги-то принес ли?

— Уж был ответ — нету!

— По крайности, коротко сблаговестил, и за то спасибо; а говоришь — сосчитаться; как же считаться-то будем, а?

— Рыба есть — бери, те ж деньги!

— И давно бы этак сказал... Неси!

— Почем пуд-то возьмешь?

— Энто уж мое дело, тебя оно не касающе...

— А-а-а! — с удивлением произнес Кулек.

— И ахай, кулик, на гагу, что много пуху. Ишо чего скажешь, ну? Цену-то любопытно бы? — снова спросил он. — Коль знать охота пришла — шесть гривен на свал!

— Ще-е-едро ж! — насмешливо ответил Кулек, искоса оглядев Петра Матвейча, с невозмутимым хладнокровием барабанившего пальцами по столу. — Боязно отдавать-то тебе по этой цене, — продолжал он, — облопаешься!

— Не пужайся за чужое-то брюхо — свое подвязывай...

— Наше-то завсе налегке: с трудового-то хлеба вширь не полезет, стало быть и подвязывать нечего; а уж за экую-то цену ты нашей рыбки не возьмешь, Петр Матвейч, не-е-ет!

Ноне времена-то, пожалуй, что и гага на кулика поахает — и пуху мало, да нос востер!

— Кто ж бы это с вострым-то носом нашелся запрет-то положить, мне взять ее, а? — весь вспыхнув, спросил Петр Матвеевич, устремив на него свои прищуренные, сверкающие глаза, — не ты ль?

— Не знаю. Ровно мы ловили-то, никто не приезжал помогать, а обирать-то вот понаехали! — твердо выдержав взгляд Петра Матвеевича, ответил Кулек.

— На эких-то востроносых хозяев я тьфу! Видел? — спросил он, сплюнув в сторону.

— Видел.

— Энто что ж по-твоему, а?

— Плевок.

— А на кого плюют, стало быть, тот человек внимания не стоящий, понял? Выходит, и разговаривать мне с тобой не о чем!

— Не закажешь! Иной и на икону плюет, да опосля ей же молится! — с иронией заметил Кулек.

Но Петр Матвеевич, не обратив внимания на последнее замечание Кулька, молча встал с лавки и, подойдя к полотенцу, висевшему

на маленьком зеркальце, отер им лоб и губы.

— Ты чьи деньги-то брал, а? — снова обратился он к Кульку.

— Твои...

— А помнишь, под чего брал-то?

— Под рыбу.

— Стало быть, обещал вместо денег рыбу отдать: так оно аль нет? И расписку, кажись, в этом дал, а? "Абизуюсь отдать рыбой осеннего улова..."

— Дал.

— Кому ж ей надлежит теперь распорядок-то делать: тебе аль мне? Как ты это в толк-то возьмешь, ну-ко?

— По моему толку-то, как ни верти, а все выходит, хозяева-то мы, и цена должна быть наша, а не твоя... Ты кладешь ее в шесть гривен, а мы-то в два с полтиной, да в рупь сорок, да в рупь восемь...

— О твоей-то цене и не спрашивают, будь благонадежен! — насмешливо прервал его Петр Матвеевич. — Что ж ты мне ее суешь-то, этак и все бы вы, дай только повадку, забрали бы деньги да опосля того и грошовую вешшь в сто рублей клали... так бы вас и послушали

и спросили?..

— О-о-о! Что деньги-то твои взял, так и не спросят?

— Обнакновенно, не спросят.

— Без спроса, что ль, так и возьмут хоша бы ту же рыбу?

— И возьмут! А ты вот в разговорах-то не проклажался бы, а нес бы ее, слышишь?

— Слышу, да только ноне рыба-то у меня скусная да ядреная — на диво рыба! — насмешливо начал Кулек, — не по твоему брюху экая, право: найдутся и почише охотники-то! — И, повернувшись боком, он отошел к двери. — Бо-о-огат будешь, за экие-то деньги ее отбирать, с надсады-то карманы разлезутся, боязно за тебя же! Пойдем, Вялый! — произнес он, выходя за дверь и сердито хлопнув ею.

Петр Матвеевич молча выслушал заключительный монолог Кулька, но заметно было, как губы его побелели, и звук от ударов пальцами в стол сделался резче и отрывистее.

— И поплачь вот с денежками-то, и верь! — обратился он к Кондратию Савельичу, убого поглядывавшему на него в ожидании

своей очереди. — Ну-у, после эких уроков денежки-то вздорожают!

— С чего б вздорожать-то им, деньгам-то, говорю? Деньги-то не рыба, Петр Матвеич, им завсе ход, особливо у торгующих; и самолова не закидывай, сами в руки плывут! — ответил Кондратий Савельич, пристально посмотрев на Петра Матвеевича, как бы желая проникнуть в затаенный смысл его слов.

— Ну, и в торговом-то деле, Савельич, тоже самолов надоть: как они в руку-то задарма пойдут, милый, денежки-то! Иной как ни потрафляй, все убыток, а иной и ни с чего фортит!

— У вашего-то самолова уда повострей: попадешь — не сорвешься!

— И фальшь бывает.

— Не сорвешься! — повторил старик, — эфто теперь, к слову говоря, ты хошь хрушкую-то рыбу взял по шести гривен пуд, сколь же ты наживешь-то с нее? И выходит тебе, к примеру, фортуна, а нам убыль!

— Не надоть было деньги-то брать — вот какой я ответ тебе дам, слышал?

— Нужа, друг, э-эх! У мужика-то нужи что

пузыря на дождевой луже: один лопнет, а уж два выскочат; и рад бы ига-то этого не надевать, ярма-то!

— Когда ты деньги-то брал, так я, помнится, не спрашивал тебя, сколь ты с них наживешь, а? — не отвечая ему, спросил Петр Матвеевич.

— Мужику ль нажать, дру-у-уг!

— Я вот спрашиваю: говорил я об эфтом аль нет, как деньги-то давал тебе, а? — повторил он свой вопрос.

— Не говорил... и греха этого напрасно не возьму.

— А сулил ведь и ты рыбу отдать? а? Сулил?

— Су-ли-ил!

— И за язык я тебя не тянул, а? отдай-де мне рыбу? А сам ты кланялся, просил под нее, а?

— Хе... ну-у-дной ты! Рот-то не ворота, язык не скоба, и потянул бы иной за него, да не достанешь.

— Зачем ты мне, к примеру, укору-то. эфти все разводишь, а? — допытывал его Петр Матвеевич, не обратив внимания на его ответ.

— Обида!

— А-а — обида! И обиду спознали! Мне-то вот только не обида, что мое ж добро заберут да мне ж и укоры и грубости за это, а? Словно я насильно навяливал вам: возьмите, мол, не обойдите милостью, а то, вишь, деньги-то карманы протерли, тяжело вот им лежать-то в них было, — ведь вы просили-то, божились-то, кланялись и посулы-то всякие сулили, а не я... Так о чем же исхо разговаривать-то? О-обида!.. хе... тебе, мужику, обида, а что меня втрое за благодетельство-то мое избидите, так это ничего, или тебе, мол, за свои-то денежки и бог велел муки-то нести, а? — говорил он, встав и надевая на себя лисью шубу. — Неси-ко лучше, благословясь, рыбу-то без ссоры, — заключил он, — и напередки пригожусь! — И, надев шапку с бобровым окольшем, вышел из избы.

Кондратий Савельич молча последовал за ним, не надевая из почтения своей оборванной бараньей шапки, и, постепенно умаляя шаг, незаметно отстал от него. Постояв с минуту на улице в какой-то нерешительности, он почесал затылок и, надев шапку, махнул

рукой, как бы отгоняя от себя неотвязную думу, и завернул за угол.

До ярмарки оставался один день, и потому у балаганов, куда пошел Петр Матвеевич, кипела деятельная работа. Все спешили устроить их, разобраться с товарами и разложить их на определенные места. По дороге ему постоянно попадали под ноги деревянные ящики из-под посуды, вороха сена и соломы, которыми она обкладывалась во избежание лома. Говор и смех, с которыми спорилась работа, не утихали; порою среди них проносился резкий свист пилы или стук топора, которым вбивали в замерзшую землю шесты или вгоняли в сделанные в них выдолбы узкие полки под товары. С любопытством заглядывал Петр Матвеевич в каждый балаган, едва дотрагиваясь до шапки на приветствия торговцев или приказчиков их. Торговцев-мелочников он удостаивал ласковым разговором, с приказчиками подшучивал — с одного внезапно, среди работы, сорвал шапку и, быстро отвернувшись, глядел в сторону, стараясь показать вид, что это и не его дело; другого, тихо подкравшись, толкал в бок, желая испугать его;

иного сдергивал за ногу с козел и хохотал весело, радушно, когда сдернутый летел на пол, а за ним и высокие козлы. У одного он незаметно спрятал под подол шубы штуку ситца, и когда тот хватился ее, он, выразив полное недоумение в лице, принялся искать ее вместе с ним, но под конец не выдержал и, разразившись громким хохотом, возвратил ее неосторожному: "О-а-ах-ха-ха-а, заходил винтом! Не отдай-ко бы я, и была бы от, Сивотия вытряска", — со смехом говорил он, отходя от приказчика, обрадованного находкой вещи.

Встречаясь со знакомыми крестьянами, Петр Матвеевич ласково здоровался с ними и останавливался поговорить с каждым, расспрашивая его о семейных делах, о сборе податей, и об улове рыбы, и о цене на каждый род ее, получая у всех в ответ, как и от Ивана Николаевича, что рыба ноне в цене — "осетрина, два с полтиной" и т. п. "Ну, ну, торгуйте, поправляйтесь! — с иронией отвечал он, — а я так вот зашабашить хочу, — говорил он на предложение иного из них купить: — не хочу более торговать-то ей, и приехал так только, старые счета свести!" Присматривался он и к

рыбе, заходя во дворы крестьян, где происходил уже обычный ярмарочный свал. Вся назежающая мелочь, как называл Петр Матвеевич мелких городских скупщиков рыбы, торговалась до изнеможения, сбивая цены с нее. Но крестьяне стойко выдерживали напор их, соблазн от показываемых им денег, не уступали в цене, и рыба действительно не шла с рук. С иронией прислушивался Петр Матвеевич к толкам и торговцев и крестьян об интересующем его предмете, не высказывая своего мнения, и изредка только думал про себя: "Придете иошо, мужики, покланяетесь!"

Зайдя в свой балаган, где работы приходили к концу, он тщательно осмотрел симметрично разложенные на полках ситцы и фаянсовую и медную посуду, — осмотрел даже ящички из-под них, сложенные в кучу, и вынутые из ящичков при распаковке загнутые гвозди, даже разрыл ногами выложенные при разборе посуды сено и солому, как бы сомневаясь, не скрылось ли что под ними от глаз Семена и Мирона Игнатьевича, снявшего с себя полушубок и раскладывавшего товары на полки вместе с работником Авдеем, высоким,

рослым мужиком, жившим у Петра Матвеевича с малолетства и исполнявшим самые многосложные обязанности. Летом Авдей ездил на павозках в качестве рулевого, зимою сопровождал Петра Матвеевича по деревням, заменяя ему и кучера и приказчика, а главное — телохранителя на всякий случай, какие нередко встречаются с торговцами на глухих сибирских выселках. Петр Матвеевич приказал Семену покончить с балаганом, прибрать под прилавок ящики и труху, говоря: "Годится на обратный, не покупать!", и выправить на топоре молотком гвозди, хотя многие из них были без концов и самые шляпки от давнего употребления помялись и поржавели. Он отобрал курок недорогого ситцу, чайную чашку с надписью "В день ангела" и женский гарусный платок и, бережно завернув их в бумагу, перевязал веревкою и вышел, не сказав своим помощникам ни слова. Вообще между Петром Матвеевичем и Мироном Игнатьевичем была заметна натянутость отношений после неосторожно высказанного последним сомнения в дипломатической способности Петра Матвеевича объего-

ривать крестьян. Петр Матвеевич в обыденной жизни не любил баловать своих домашних и людей, поставленных от него в зависимость, ласковым обращением. "У меня в струне чтобы!" — говорил он каждому, поясняя свою систему правления. И вдруг человек, по его милости евший хлеб, выразил сомнение в уменьше его вести свои дела. Как и все люди, Петр Матвеевич не скоро забывал удары, наносимые самому чувствительному в сердце человека месту — самолюбию.

-

Волостной голова Роман Васильевич Ковригин собирался идти с работником провезать привезенную с мельницы крупу. Надев старый полушубок, он подпоясывался, когда в избу неожиданно вошел Петр Матвеевич.

— И не собирайся, никуда не пуцу, на то и гостинцы принес! — с усмешкой приветствовал он растерявшегося Романа Васильевича, который, вместо того чтобы заправить истрепанные концы кушака за пояс, в смущении прятал их вместе с рукавицами за пазуху. —

И не следовало бы давать-то, ну да куда ни шло! — говорил Петр Матвеевич, подавая хозяину узел и садясь на лавку.

Через четверть часа после, его прихода Роман Васильевич в новом суконном зипуне сидел за столом в своей чисто прибранной горнице вместе с дорогим кумом; на столе перед ними лежал на блюде разрезанный пирог из свежей осетрины; полуштоф очищенной и бутылка с этикетом "сладкая романея", окруженные блюдечками с белыми грибами, груздочками, брусникою, посыпанною сахаром, небольшими пряничками и кедровыми орехами, свидетельствовали о всем радушии хозяев в угощении дорогого гостя.

— Избаловала ты его, кума, о-о-ох! — слегка пощипывая из пирога осетрину, крикнул Петр Матвеевич за перегородку, откуда доносился до них звон чайной посуды.

— Мои ли года баловать! — ответил торопливый старушечий голос. — Будет, побаловали!

— То ись будет?.. Нет, видать, ишо крепко гладишь его, вишь, выровнялся, какой кругленький стал.

— Не сглазь! Господь с ним, пушшай отъедается!..

— До отвалу-то не корми, в меру потрафляй, а то вдосталь-то зажиреет, что проку? Жирные-то петухи только без пути ощищаются! — говорил Петр Матвеевич, посмеиваясь над своей остротой.

Роман Васильевич, круглый, среднего роста человек с седою окладистой бородой, обрамлявшей его крепкие румяные щеки, во все время разговора самодовольно улыбался, поглаживая бороду и усы. В лице его просвечивало самое теплое, сердечное добродушие. Каждый бы, взглянув на него, внутренне сказал: "Этот человек не сделает никому зла". А между тем благодаря своему добродушию, всегда почти соединенному в людях с бесхарактерностью, он много делал зла, не ведая, что творит его. Когда же он серьезно убеждался в этом, то грустил и жаловался на долю и на общество, избравшее его головой.

— Ишь, он вот заелся и мужиков-то своих распустил! — продолжал между тем Петр Матвеевич. — Таких-то грубиянов, как у него, хоша бы к примеру взять Кулька, не найдешь

и по губернии!

— А-а, нешто сгрубил он тебе? — спросил Роман Васильевич.

— Послушал бы, как за мое-то добро напел. Э-хе? За то, что мои же деньги забрал, и платить не хочет!..

— Выправится, продаст рыбу, и возьмешь, — ответил Роман Васильевич. — Он ничево мужик-то, хоша и бедный!

— Ну-ко, скажи наперво, кому они продадут-то ее?

— Мало ль торговцев-то наехало...

— Ни пуда ни купят у них по ихним-то ценам, какие они наложили. Ты слыхал ли, они вон таксию установили, а? А ты, голова, и ухом не ведешь, как будто не твое и дело, а так и должно?

— И чу-удной же ты какой, Петр Матвеевич, право, чудной! — укоризненно качая головой, ответил Роман Васильевич. — Ведь всякий в своем добре волен!.. Это бы я полез к тебе в твое дело с указом, чего б ты сказал мне?

— Мое дело — другая статья, а вот ты мне про свое-то скажи: голова ты аль нет?..

— Голова!

— Блюсти, чтоб казне-то не было ушшербу, твое дело?

— Казну-то блюсти энто мое дело, да нешто ей есть от энтого ущерб?

— Собрал ты подать-то аль нет, ну-ко?

— Туго она ноне идет, кум, — а-а-ах как туго!.. Супротив лонских-то годов и трети не выходили. Сбился народ-то. На юровую вся надежда!

— И обманешься! Неуж ты думал, у них будут покупать, а?.. Сме-ешно! Это я бы, к примеру, ехал за триста верст, тратился, да и купил ее по этим ценам, а сам ее должен за половинную отдать, да и то слава богу, если купят. Так из каких же прибытков мне покупать-то ее, а? Не-ет, дураки-то ноне в городах повывелись: все, говорят, в деревни убегли, где их непочатый угол навален! А ты вот сиди да жди, соберешь ее много, подати-то: распахивай казенный-то сундук под сквозной ветер. А нешто начальство не спросит с тебя, что ты смотрел на порядки-то на энти, на бунт-то? а-а?

— Бунт? — с удивлением спросил Роман

Васильевич. — Да где он, бунт-то, какой из себя, покажь-ка?

— А это, по-твоему, не бунт, если я таксию самовольно установлю казне в ущерб, а? Ты голова, а волостью-то Иван Николаев заправляет, такси выдумывает, подговаривает мужиков на дело, от которого казне ущерб.

— Ивана Николаева ты, Петр Матвеич, зря не путай! Он худу не научит, это мужик первый по волости.

— По плутовству-то?

— Не извышен он на энто ремесло-то, ошибся ты, кум.

— Острог прошел, да не извышен, а? — И Петр, Матвеевич с усмешкой посмотрел на него.

— В остроге-то, говорят, более честных сидит, Петр Матвеевич, чем на воле ходит. И дураков-то, сказывают, туда малость сажают, всё более умных, так-то...

— А-а-а! Ну, экую речь впервой и слышу, что ж это ты не в остроге? Кажись, с виду-то не дурак бы мужик!

— Не линия, значит!

— Обожди же, не скучай, с Иваном-то Ни-

колаевым скоро попадешь — на нее! Не-ет, кум, около энтих-то делов, что у огня, спустя рукава не стой, — обожжешься, тогда и помянешь меня, о-ой, помянешь! — И Петр Матвеевич, отвернувшись в сторону, слегка забарабанил пальцами по столу и искоса наблюдал за Романом Васильевичем, в лице которого при последних словах его выразилось глубокое раздумье. Видно было, что гость затронул в хозяине еще не рождавшийся вопрос. Как и большинство неграмотных волостных сельских начальников, Роман Васильевич был трус. Он всего боялся: боялся и писаря и земских властей, от которых находился в полной зависимости, одинаково боялся и избравшего его общества. Общественные интересы он понимал, и, как члена той же общины, они одинаково касались и его, но незнакомый с существующими законоположениями, он всегда терялся в сознании правоты их, тем более, зная по опыту, что земские власти не всегда одобрительно относились к интересам крестьян. Слова Петра Матвеевича и вызвали в нем подобное сомнение. "А что как этого не велено и после в самом деле меня спросят, че-

го я глядел?" — все мучительнее и мучительнее шевелилось в его уме.

— А-а-ах! — произнес он, покачав головой и, заворотив полу зипуна, отер ею крупный пот, выступивший на лбу,

— Не жарко, брат! — с иронией заметил ему Петр Матвеевич.

— От думы, кум! От жары-то я не шибко на пот-то податлив! А-а-ах! Дай-то, господи, говорю, дослужить поскорее. И-и-и, то ись обеими руками хрест положу. И ей-богу, от одной думы-то энтой сколь сокрушения! — произнес он, разведя руками... — Один одно говорит, другой совсем инако, а мое-то дело — темь!..

— Чего ж ты надумал-то, а?..

— Надумал-то! да надумал-то я таперича, кум, скажу тебе, большое дело!

— А-а! Подавай господи, пора!

— И то ись так таперича в своем уме полагаю, — с глубоко серьезным выражением в лице говорил хозяин, — твори господи волю свою!

— То-о-олько-то?

— Возложись, и будешь паче всего невредителен!

Петр Матвеевич снова забарабанил по столу и, сжав губы, слегка засвистал.

— Не-емного же ты выдумал! — с иронией произнес он. — А я-то сдуру порадовался, думал, ты и невесть что, — а оно не-е-мно-о-го! А как же ты с Кульком-то считаешь меня, а? — спросил он после продолжительного молчания — мне время-то не терпит, а задолжал-то он мне вместе с Вялым более тридцати рублей, по нынешним-то временам — де-еньги! А я под рыбу ему давал. Ты отбери-ко мне рыбу-то у него, а?

— Одумается и сам отдаст, обожди зорить-то!

Петр Матвеевич посмотрел на него, угрюмо насупив брови, и, приподнявшись с лавки, молча взялся за шапку.

— Толковать-то язык устанет. Ай, голова-а! — отрывисто проговорил он. — И ищи суда!

— А-а-ах ты строптивый какой, ну-у!..

— Будешь строптив, как один вот так-то подкует, да другой, а карман-то один... Идешь, что ль?

— Не каплет! Прикуси, испей хоша чайку,

в кои-то веки заглянешь?..

— Идешь, спрашиваю, аль нет? — настойчиво повторил Петр Матвеевич.

— А-а-ах какой ты, ну-у! А я ишо хотел было сегодня крупу провеять, мужик тут покупает ее у меня, а тут грехи одни, и ей-богу, грехи! — говорил хозяин, неохотно охорашивая свою белую мерлуцатую шапку, и выходя вслед за гостем.

По дороге Петр Матвеевич завернул в балаган и взял с собою Семена, Авдея же послал за лошадью с розвальнями. Дойдя до избы Кулька, стоявшей около гумен, окаймлявших берег Иртыша, они встретились с ним у калитки. Увидя их, Кулек остановился.

— Распахивай-ко ворота для дорогих-то гостей, — м насмешкой сказал Петр Матвеевич, когда они подошли к нему.

— А зачем бы это бог в дешевую-то избу дорогих-то гостей принес? — спросил его в свою очередь Кулек, загородив собою вход в калитку.

— Ты бы из учтивства-то в избу примолвил, не тати[3] к тебе пришли! — серьезно заметил ему Роман Васильевич, видимо вхо-

дивший в роль от сознания своего достоинства.

— Не заперта, милости просим. Добрая-то весть, сказывают, сама летит, худую-то только на ворота вешают. Не за добром, видать, в гости-то называетесь! — говорил Кулек, входя во двор и отворяя дверь в избу, куда вслед за ним вошли голова и Петр Матвеевич.

О горькой нужде в быту Кулька можно было заключить уже по обстановке в избе. Около покосившихся, но все-таки чисто выбеленных стен стояли лавки, сходящиеся у стола в переднем углу. У печки висела люлька, в которой стонал обернутый в какие-то лохмотья больной ребенок. У узенького оконца, с натянутым вместо стекла бычачьим пузырем, едва пропускавшим дневной свет, сидела с прялкой в руках подросток-девочка, в одной грубой пестрядинной рубахе, — прикрывавшей ее тощее тело. Сидя у люльки, жена Кулька, пожилая женщина с болезненно истомленным лицом, укачивала на руках другого больного ребенка, то прижимая его к груди, то поднимая на воздух, чтобы унять его плач и удушливый кашель. И мука, нестерпимая

мука выражалась в эти минуты на ее лице. И грустная картина эта, и удушливый, спертый воздух, и царивший в избе мрак охватили бы человека, незнакомого с жизнью нашего крестьянина, томительным чувством. Но не того закала были вошедшие.

При входе головы и Петра Матвеевича девушка испуганно встала, с недоумением глядя на них. Холодный воздух, охвативший люльку, возбуждал в ребенке, лежавшем в ней, кашель, кончившийся глухим, сильным криком. Успокоившийся на руках матери ребенок, разбуженный ее торопливым движением, также разразился плачем.

— О-ох, господи! — произнесла бедная женщина, прислонясь к печи и снова укачивая его.

— Ганька! — крикнул Кулек девушке, стоявшей с прялкою в руках, — возьми робят-то да снеси их к Вялому в избу! — Чем же угощать-то тебя, Роман Васильич, что не обошел честию, заглянул и в мою клеть? — спросил он, когда девушка, закутав плачущих детей в изорванный полушубок, унесла их и в избе воцарилась тишина.

— Обиду вот на тебя Петр Матвейч принес, братец ты мой! — ответил он, присев на лавку.

— Что за шесть гривен пуд рыбы не отдаю, а-а-а? Емок он на энти обиды-то!.. Так ты это судить нас пришел, а?

— А-ах, братец, и все, то ись, вы!.. Ты ведь брал деньги-то?

— В отпор не иду — брал.

— И отдай... по заповеди... путем отдай!

— И отдаю. Пушшай берет рыбу. Вот он тут сидит, я при нем и говорить буду. Он вот обиду несет, а что сам обижает, про эфто молчит!.. Я брал... Брал, и расписку выдал вместе с Вялым, под рыбу брал, рыбой и отдаю. Так зачем он грабить-то хочет, а? Вот он тут сидит... глаз на глаз... ты и спроси его, нешто по нынешним-то ценам за шесть гривен пуд-то осетрины взять не грабеж, а?..

— Экие-то слова мо-отри в препорцию, друг! — внушительно заметил ему Петр Матвеевич, — а то за поношение чести!..

— Нешто у тебя есть честь-то? — презрительно усмехнувшись, спросил его Кулек.

— Смо-о-отри, говорю, о-ой!..

— Не пужай! Смотреть-то не на что! — раздражительно ответил он. — Ты о чести своей молчал бы! Честь-то твоя — что у худой бабы подол — обшмыгана!..

— И в самом деле, ты, Кулек, поприглядней на слова-то будь! — строго заметил ему и Роман Васильевич. — Слово-то слову не иначе: вылетит — не поймаешь!

— Мое-то слово горе говорит, Роман Васильевич. Ты гляди, ртов сколь... пить, есть хотят, а работник-то на семью один я. Ты подушну-то спрашивашь, вздоху не даешь... есть чего отдать аль нет, а разорвись да выдай! Пушшай уж казна берет, ну-у, божье попущенье! За что ж ишо купцы-то наезжают грабить нас, а?.. А коли ты честный, говоришь, — обратился он к Петру Матвеевичу, — ты по чести и бери... не зори... не отнимай у нищего-то последнего куска изо рта! Ведь ты сы-ыт, избытошно богом-то взыскан, а я нищ, ни-и-ищ! — И в голосе Кулька зазвучали слезы.

— И болт... привяжи вместо языка-то, устанет в разговор рах-то энтих! — сухо произнес Петр Матвейч, глядя куда-то в сторону. — Ты,

голова, сказки пришел слушать аль за делом? — с иронией спросил он.

Роман Васильевич вместо ответа глубоко вздохнул. Видно было, что в душе его происходила борьба.

— Ну-у, он те и прикинет две-то, три гривны от щедрости! — внезапно утешил он Кулька.

— С каких это резонов ты взял? — угрюмо насупившись, спросил его Петр Матвеевич.

— На нужу-то его, что богу бы свеча, кум, бедное и его дело-то! — с грустью в голосе заступился он.

— Из чужих-то карманов ты бы гривен-то на свечи богу не высовывал, а свой широк: распахни, ставь, запрета нет!

Роман Васильевич почесал в затылке.

— А я вот спрашиваю, почем ты со сказки-то платишь? — снова спросил он.

— Нужа мужичье-то дело, друг, а-а-ах, ну-жа великая, — произнес, не отвечая на вопрос его, Роман Васильевич.

— А мы сложа руки хлеб-то едим, а?

— Известно, купцу одна работа: деньги считай да брюхо: расти! — язвительно вме-

шался Кулек.

— А-а... и ты б, коли завид берет на купеческое трудолюбие, нажил бы капитал и занялся бы этим делом, аль не вмоготу? Ты вот лучше, чем энти присказки-то на уши мотать, без греха бы рассчитался со мной!

— Похвалился сам взять, и бери! — ответил ему Кулек.

— Своих-то рук, стало быть, нет у тебя на отдачу-то, а на то выросли, чтоб только в заем брать.

— И свои есть, да не поднимутся у робят-то малых кус урвать... их энтот кус-то... и-их

— Деньги-то, помнится, ты на себя брал — не на робят.

— И бери! Рыбу бери! Я не стою! Тебе боле надоть!

— Слышь? Голова, отдает, так чего ж?

— Без препоны... бери! — решительно повторил Кулек.

— Возьмем, не затрудним тебя, не сумняйся! — с иронией ответил ему Петр Матвеевич, — а ты, коли добром отдаешь покажи ее, где она!

— Не касающе меня энтю дело, — ты ж ска-

зал, что не я хозяин, а ты!.. А хозяин сам должен знать, где его добро лежит. — И, отойдя от печи, он сел на скамью и, опустив голову обхватил ее руками, —

Все молчали.

— Энто докедова ж будет, а? Голова!..

— А-а-ах, отступиться б! — произнес Роман Васильевич, махнув рукой. — Кулек, а-а Кулек, ну те к богу, ра-азвяжись за один конец, может, и тебе бог на твою долю пошлет!

— Я не хозяин своего добра, меня и не спрашивай: веди их в амбар, пусть грабит! — обратился он к жене, все время молча стоявшей у печи, грустно подперши рукою щеку и время от времени утирая передником накапывающиеся на глаза слезы.

Молча взяв из-за печки ключ, она вышла из избы, хлопнув дверь. Петр Матвеевич поднялся с лавки и пошел за ней, а за ним и Роман Васильевич. Выходя из избы, он взглянул на Кулька, сидевшего в том же положении, и остановился, но, покачав головой, вздохнул и молча вышел.

На дворе их ожидали Авдей и Семен. Отворив амбарушку, стоявшую у заборчика из

плетня, жена Кулька прислонилась к нему и, закрыв лицо передником, зарыдала. Роман Васильевич, стоя в стороне от нее, то качал головою, то, под влиянием волнующей его мысли, махал рукой и хотел сказать что-то, но произносил одно только: "А-а0ах!" Но что выражало это "ах" — раскаяние ли о своем вмешательстве, сожаление ли к нужде Кулька или сознание собственной беспомощности — трудно было определить. Вообще трудно угадать, что думает русский мужичок, произнося какое-нибудь любимое им междометие или почесывая в затылке. А Петр Матвеевич не уставал тем временем хозяйничать: опытной рукой выбирал он зарытых в снег, набросанный в амбарушке, осетриков, чалбышей, нелем. Попадал ли ему под руку крупный муксун, он брал и муксуна. Выйдя из избы и прислонясь к косяку двери, Кулек молча глядел, как Семен и Авдей нагружали полы своих полушубков отборной рыбой и складывали ее в розвальни. Лицо его горело, в глазах выражалась бессильная злоба, а судорожное подергивание углов губ доказывало, что, несмотря на всю его сдержанность, нервы его

усиленно работали.

— Не забыл ли чего оставить, оглянись! — с злою усмешкою спросил он, когда Авдей и Семен с грузом рыбы, сев в розвальни, отъехали от ворот и Петр Матвеевич направился к калитке.

— Не ушаришь, — лаконически ответил он.

— Пошли тебе господь грабленное-то впрок положить.

— Не брезгливы! Нам все впрок, — тем же тоном ответил Петр Матвеевич, выходя вслед за Романом Васильевичем в калитку. — Захаживай, коли пристегнет напасть-то! — крикнул он, затворяя ее за собою.

Кулек присел на крылечко и, опустив голову, заплакал. Грустно видеть, когда плачет ребенок, не сознающий серьезных невзгод жизни, горе которого так же мимолетно, как тень от облака, набежавшего в ясный солнечный день. Прошла минута, исчезла тень, и он еще с невысохшими слезами на глазах улыбается и резвится, забыв о горе. Но скорбно видеть, когда плачет взрослый человек тем тяжелым грудным плачем, который сильнее недуга

подтачивает силы и часто оставляет на всю жизнь неизгладимые следы в чертах лица и в характере. Вот этим-то надрывным плачем от шумной Волги до пустынных Оби и Енисея нередко оплакивает русский мужичок свою горькую долю, свою безысходную нужду!

Покончив со своими должниками, Петр Матвеевич с наступлением сумерок, когда в селе стала стихать дневная деятельность и меньше встречалось на улицах народа, прошел позади дворов в волостное правление, где жил волостной писарь Борис Федорович Мошкин, около пяти лет самовольно управлявший волостью. Человек он был угрюмый, молчаливый и ходил постоянно с повязкою на щеке, снимаемой им только в дни приезда исправника и других властей. Зная его влияние на общественные дела, каждый торговец, приезжавший на Юровую, считал долгом приносить ему известную дань, с которою пришел теперь и Петр Матвеевич. Свидание их было весьма продолжительно и, должно быть, по своим результатам приятно для Петра Матвеевича, так что, возвратившись домой, он долго сидел и улыбался, барабаня все-

возможные знакомые ему мотивы и насвистывая: "Я посею, сею, млада-молоденька!" Когда же хозяйская племянница, стройная краснощекая девушка, внесла ему ужин, он, забыв свою степенную солидность, неожиданно щипнул ее за один из концов шейного платка, падавшего на высокую грудь, заставив ее от этой любезности вскрикнуть и пр-исесть.

— А-а-а, испужалась? — со смехом произнес он. — А-ах, ха-ха-а, а ты бы, молодка, того... около старика-то пообихаживала, у старика-то карман то-о-олст, э-эх-хе-хе-е, горячая жилка! — И он снова хотел повторить свою любезность, но горячая жилка, стыдливо закрывшись передником, убежала и более не возвращалась.

-

Вкравшееся в ум Романа Васильевича сомнение в законности установленной крестьянами таксы на рыбу не покидало его. Выбрав первую же свободную минуту, он пошел к писарю с намерением выведать его мнение, но, не подавая вида о настоящей цели своего посещения, издалека, стороной, между разгово-

ром, коснулся этого вопроса, намекнув и на то обстоятельство, "как-де, есть ли что в законе касательно таких бунтов, и точно казна потерпит от этого ущерб?" И Борис Федорович, заранее уже подготовленный дальновидным Петром Матвеевичем, с первых же слов сказал ему: "Есть!", и что "стачки, устанавливаемые скопом, воспрещены", и "если они не примут своевременных мер против нее, то дело может принять для них весьма неприятный оборот" и в подкрепление своих слов вычитал ему те статьи закона, где говорилось о стачках и о возмущениях, производимых скопом, Роман Васильевич, не доверявший Петру Матвеевичу, не ожидал подобного известия. Но перед таким авторитетным аргументом, какой привел ему Борис Федорович, он растерялся, упал духом и, по обыкновению, посетовал и на свою долю и на общество, избравшее его головой.

Результатом происшедшего между ними совещания о принятии предохранительных мер было то, что на другой же день в волости назначили сходку, на которую повестили всех крестьян-рыбопромышленников. Самые

бедные, вроде Кулька, Вялого и Кондратия Савельича, не оповещались: все знали, что они придут и без повестки потолкаться в толпе, послушать, о чем говорят более зажиточные, и потом поднять вверх правую руку, утверждая этим принятым в быту их жестом то мнение, которое установит меньшинство их. В этой бедной, забитой жизни капитал играет еще большую роль, чем где-либо, подавляя всякую правдивую мысль, если она родилась в уме бедняка, одетого в оборванный полушубок и такие же бродни.

Несвязно, запинаясь на каждом слове, произнес вступительную речь Роман Васильевич, объясняя собравшемуся обществу незаконность составленной ими таксы. Все внимательно слушали его, теснясь за решеткой, отделявшей волостное присутствие от остального пространства, предназначенного для сходок. Внимательно слушал его и Борис Федорович, стоя, по обыкновению, с подвязанной щекой у стола, покрытого черным сукном и заваленного бумагами и пакетами. Никто в толпе во время его речи не шелохнулся, и каждое слово его отчетливо доносилось до

ушей стоявших даже у порога. Скрестив на груди руки, слушал его и Иван Николаевич, выдвинувшийся вперед всех при начале ее.

— Ты о чем это говорил-то, не во гнев тебе, спрошу я?.. — произнес он, когда Роман Васильевич замолчал и отирал полою нового суконного зипуна вспотевший лоб и ладони у рук. — Я, признаться, слушал, да что-то в толк не взял!

— Народ-то вот не надоть мутить, Иван Николаич! — с сердцем ответил он. — Вот я к чему!

— Так тебе бы так и сказать, короче бы дело! А кто ж их мутит?

— На миру-то про тебя говорят!

— По-твоему выходит, у всего-то крещеного мира и разуму своего нет, а? — с иронией спросил он.

— Мир-то наш, Иван Николаич, что скворя, [4] все боле с чужого голоса поет. Уж не тебе бы и пытаться об этом, ты сам пытанный! Ты вот и теперь первый заговорил, а все молчат, стало быть, оно и касающе тебя!.. Ты, Иван Николаич, к слову сказать, помутил мирским-то разумом, да и в сторону, а мы в отве-

те!

— В чем же ответ-то твой будет, ну-ко?

— В попущении бунта!

— Бунта-а-а! — с удивлением произнес он.

— В такце вашей да в казенном ушшербе.

— Гора-то какая выросла, и глазом не окинешь, а? Заварили же мы, братцы, кашу волостным на расхлебу, — с иронией обратился он к обществу, все время молча слушавшему их. — При каком же тут деле казна-то? — снова спросил он.

— Ушшербнет.

— Отчего бы это казне-то ушшербнуть, ответь-ко? Кажись, сама деньги-то делает.

— Иван Николаич, ты взялся говорить, так словами-то не играй, здесь волость, сход! — серьезно заметил ему писарь. — Здесь слово-то говори с оглядкой.

— А тебе бы, Борис Федорыч, на мой ум, подвязать язык надоть, а не ланиту. Ты меня-то не учи! Я сам порядок-то знаю! Ты не боле как наемник наш, твое вот дело писать, что голова тебе прикажет да общество. А свое-то слово в мирскую речь бросать не доводится. Аль язык-то тебе Петр Матвеич наточил,

а? Ну-тко, скажи нам, кому это он в волость, по задворьям-то хоронясь, узел вчера нес, что доброй бабе и на коромысло не зацепить, а?

Борис Федорович покраснел и, отвернувшись в сторону, закашлялся и поправил повязку.

— А-а-а! Видишь, сладкие ж гостинцы-то, и перхоть взяла, — с юмором заметил Иван Николаевич.

В толпе слышался смех.

— Доехал... то ись... и мужик же... а-ах ты, братец! — раздались в ней одобрительные отзывы.

— Иван Николаич, ты уж был в науке? — вступился Роман Васильевич, покачивая головой.

— Был, Роман Васильич, был... осветился! — тем же тоном ответил он.

— Что птица за решетчатыми окнами сидел?

— Сидел, Роман Васильич, сидел, да там и правду-то щебетать научился! А корить то этим при обществе нечего, не за воровство сидел, а за правое дело, что свеча пред богом... По-омни, все мы под богом... от тюрьмы да от

сумы...

— Не корю я тебя, дру-у-уг, — прервал он, — а грех бы, говорю, других-то совать в энти палаты...

— Кого ж я сую-то, а?

— И общественников и нас...

— О-о-о! А я уж испужался, думал, не Бориса ли Федорыча; так он, Роман Васильнч, и без чужой помощи своим умом до энтих-то палат доживет. Гостинцы-то на еду скусны, да отрыжка-то с них о-о-ой... худая живет! А ест, ест, да и придет час отрыгнуть! А ты бы, Роман Васильич, послушал моего старого ума, лучше б было, коли за общество стоял. С нами тебе жить-то доведется, о-ой, с нами! Скажи-ко ты мне, чем я под иго-то подвожу, а?

— Не ты ль на такцию общество-то подбил, а?

— Я! я! Так энто и есть иго-то... бунт-то?

— Бунт!

— Если я, к примеру, слепому дорогу покажу — и бунтовщик, а? Да где же про это писано?

— В законе!

— Неуж в законе не велено, чтоб мужик по

своей цене свое кровное добро продавал, а?

— По своей-то цене? — повторил Роман Васильевич и, задумавшись, почесал в затылке. — Не велено! — утвердительно, наконец, ответил он. — Не велено! — снова повторил он тем же тоном. — Положенье такое: такциям запрет, а кольми того говорит, скопом!

— Ско-опом! энто что ж за слово?

— Слово... самое... в законе прописанное... законное слово! — пояснил он.

— А-а! Так по закону-то так надоть, значит: если рыба мне стоит два с полтиной пуд, то я должен отдать ему по его цене, а не по моей!

— Не то ты говоришь, Иван Николаич, — прервал писарь, все время молчавший после происшедшей с ним сцены. — Поймите, — обратился он к обществу, избегая пронизательного взгляда Ивана Николаевича, — закон не воспрещает продавать свое добро по какой хошь цене, а воспрещает токмо такции... самовольные стачки скопом, к примеру будучи сказать, как вы установили обчеством, если от них предвидится казне ушшерб. Во-от что закон-то гласит, поняли ль?

— Ты растолкуй, какой казне-то ушшерб от

наших цен? — спросил его Иван Николаевич.

— И как ты это в толк не возьмешь спросить: "Собрали ль мы подать-то?" — укоризненно качая головой, вмешался Роман Васильевич,

— Нк мое дело казенный сундук считать. Ты голова, ты и блюди!

— Ты бы спросил, много ль мы собрали-то ее. Мы и первой-то половины не очистили, а второй-то и не начинали; так энто казне не ушшерб?

— Ушшерб!

— А собрать-то ее когда же, а?

— Поторгует мир на Юровой, справится и очистит грехи... Подожди! Не вдруг!..

— То-то не поторгует!.. В лонские-то годы, помнишь, торговцы до ярманки грузили возы рыбой да отправляли. Мы до ярманки-то, бывало, сборные книги очищали, а ноне кто продал ее, рыбу-то, окромя наезжих крестьян, а? Принес ли из наших-то юрьевцев кто в подать-то хоша копейку, а? А ведь уж завтра ярманка... К вечеру, гляди, уж торговцы-то в обратный путь соберутся. Вы такцию-то установили, а не спросили того, кто купит по ней.

В самые что ни есть неуловные года хруш-
кая-то рыба свыше девяти гривен да рубля с
пятаком не поднималась, а вы два с полтиной
заломили, а? И думаешь, купят...

— Купят! — спокойно и твердо ответил ему
Иван Николаевич.

— А кто купит-то... Смотри, ведь уж наез-
жие-то крестьяне всю рыбу продали, куп-
цы-то уж наторговались! Так кто ж купит ее у
наших-то?

— Гуртовщик, тот же Петр Матвеич, а для
ча он по-твоему, когда уж все мелшники-то
скупил ее у наезжих, наторговались досыта,
а он не скупал... И доhone все сидит да ждет,
а?

— Ну, а не купит, закапризится, поставит
на своем, а? Тогда кому ее продашь, а? Да он,
слых есть, и торговать-то ей боле не хочет!

— Купит! небось... — ответил Иван Нико-
лаевич, не изменяя тона, — купи-и-ит! Тепе-
ря-то он с непривычки ломается, говорит, что
торговать ей не хочет, мужичьих поклонов
ждет, а увидит, что не поддаемся, и купит, и
пять рублей положь за пуд, и, за пять купит!
Неуж ты думаешь, он на ярманку ехал на грош

продать, а на два в долг отпустить, а? Не-ет, ему рыба надоть, рыба-а!.. За рыбой он едет, а ярманки-то хоща бы и век для него не бывало. Где возьмет ее теперя, опричь нас, а? С обских промыслов, что ль? Не-ет, там купцы-то тысячники плавают, почише его, да коли он и купил какие крохи, то уж израсходовал в пост-то, тут масленая над головой, да сызнова пост, расход на рыбу-то, успевай повертываться, а ему не поторговать, и хлеба не видать, тоже есть хочет, а где, говорю, он возьмет-то ее теперя, опричь нас, а? Ну-ко? Торговать ей не хочет боле... хе... слушай ты его, он и не то исшо скажет! Коли б он ей торговать не хотел, не надоть была ему рыба, так для чего бы он это меня-то к себе призывал да ульщал всякими дарами, чтобы я цену сбил, а не с его ли голоса и ты говоришь о бунте да казенном ушшербе, а-а-а? А это ты как полагаешь, не казенный ушшерб, что мы с дурности своей в лонские-то годы что ни есть хрушкую-то рыбу по семи да по восьми гривен пуд отдавали ему, а он торговал ей по три с половиной да по четыре с гривнами пуд, а? Ну-ко, сколь лихвы-то, тряхни-ко ерихметикой-то?

Казенный-то ушшерб теперя, на мой ум, будет, коли мы ему по старым-то ценам отдадим, да-а! Разведи-ко умом-то, ведь мы казенные люди-то. Казне-то избытошнее, коли мужики-то в прохладе живут, не жуют хлеба, слезой поливаючи. Вот как мы энтой-то цены попридержимся, так гляди-ко, чего будет?.. Бедность не будет голодать, казенная недоимка не станет расти на ней, как грибы от дождя, тысячами! И тебе-то без горя, ты не будешь ее за казенну-то подать в заработки отправлять, вконец-то зорить ее. Бедность-то выправится да сама уплатит ее без слез! А коли мы поддадимся-то ему — и ушшеерб казне, не соберешь ее, подати-то, и будет боготому-то фазор, а бедности-то одни уж слезы... только ему нажива! На-а-жива ему, Роман Васильич, на наши-то труды! На неё-то он и брюхо растит. Возьме-е-ет... и последнее возьмет, как у Кулька да у Вялого, и спасибо не скажет. Вот ты за что Кулька-то да Вялого в разоренье-то отдал, а? А голова-а! Нам бы должен защиту дать, а ты вон какой распорядок-то сделал. Гр-е-х тебе, Роман Васильич, гр-е-х!

Роман Васильевич покраснел и, с смущением разведя руками, хлопнул ими по бедрам.

— А-а-ах! — произнес он, качая головой, — не друг ты мне, не друг, Иван Николаич.

— Не та дружья рука, Роман Васильич, что только гладит, а та, что и бьет подчас, на миру-то говорят! — ответил он. — А рыбу-то он все-таки купит у нас без ушшерба казне, не сумняйся! — заключил он.

Из толпы во все время речи его не возвысился ни один голос, изредка только среди невозмутимой тишины проносился легкий шепот или вздох, и затем снова все замирало. Роман Васильевич задумался и наконец, покачав головой, с тревогой в голосе произнес:

— А как не купит, заломается... Тогда-то как?

— А нешто в город-то самим везти пути заказаны, а?

— Эта за триста-то верст... харчиться да убыточиться! — раздался вдруг голос. — Да исшо кому ее продашь там? Тому же Петру Матвееву.

И Роман Васильевич и Иван Николаевич

оглянулись в ту сторону, откуда послышался возвысившийся голос пробежавший в толпе электрической искрой. Толпа вышла из пассивного состояния, точно разбуженная им, и заколыхалась.

— Спросил бы, на чем исхо другой пове-зет-то, — заговорил седой приземистый старик. — У меня вон одна лошадь, да и та исхо по осени копытом в колесо угодила да все сорвала. И вези-зи-и.

— Сытым-то, Парфен Митрич, и в город путь!

— И-и... Тощему-то брюху только всякая дорога длинна.

— Ты дело говорил, Роман Васильевич, — среди общего беспорядочного говора крикнул высокий сутуловатый крестьянин в оленьей дохе, постепенно проталкиваясь из толпы к решетке. — Завтра ярманка, а спроси, есть ли у кого из крещоного мира грош за душой... а ведь мы и живем только от ярманки, у нас один раз в год урожай-то на деньги. Гляди-ко, иные-то до нитки обносились, у другой обуви без подошв, а на что их купить-то. А хоша б подушную таперя. Да что толковать! — за-

ключил он, махнув рукой, — непутнюю кашу заварили... А в город-то везти — ну-ко, испробуй с пустым-то карманом триста верст отмерить, за один корм лошадям душу заложить... да у кого ишо кони-то есть. А там-то жди, когда ее по фунтам-то продашь! А гуртом-то кому? Тому же Петру Матвееву, а уж коли он здесь на своем стоит, так уж там, гляди-ко, насолит-то!

— Э-э... семи бабам подолами не выгрести! — прервал его голос из задних рядов.

— А-а-ах-ха-ха-ха-а! — загомонила толпа. — И ей-богу верно... Семи бабам... ну и сло-о-во!

— Верно... а-а-ах как верно. Ты, Иван Николаич, с фортуной мужик, — усиленно возвысив голос, крикнул ему тщедушный старик, барахтаясь в толпе. — И голова мужик!

— Мужик, да ума-то...

— Ума ло-о-хань!

— И за мир он, братцы, стоит, и ей-богу.

— Сосенка!.. Взыщи его господи!

— А-а-ах, Иван Николаевич, как ты нас объехал, ну-у-у, подъел не прячь купца. Пошли те господи фортуны, послушали тебя на свою шею, — чуть не в голос укоряла его рас-

ходившаяся толпа.

— Да дай тебе господи, Роман Васильевич, веку, и тебе, Борис Федорович, — то ись пошли вам господи за науку вашу — за мирское раденье. И продадим мы рыбу с вашего слова по благословению!

И слился этот говор в общий гул, в котором терялась всякая нить хотя какой-нибудь мысли. Иногда еще ухо могло уловить резко произносившиеся отдельные слова: "харчи", "убытки", "пошли господи", "копыто" и т. п.

Роман Васильевич зарделся ярким румянцем от сыпавшихся на него похвал и благословении, и в самодовольном смущении растерялся, не зная, куда смотреть, что говорить. Но Иван Николаевич заметно побледнел. Среди посыпавшихся градом укоров он не проронил в свое оправдание ни одного слова и только с грустною задумчивостью смотрел на волнующуюся толпу.

— И правду ты, Роман Васильевич, сказал, — произнес, наконец, он, качая головой, — пра-авду, общество наше что скворя! Прости, что пообидел тебя, хотел с дураками пиво варить, да сколь не вали в него хмелю,

оно все солодит, а в солоделом и проку нет!

И, повернувшись, он медленно стал пробираться в толпе к дверям и вышел незамеченным в разгаре бушевавших толков.

-

— Пошто же вы это не выдержали, в отпор-то пошли, а? — спросил Петр Матвеевич пришедших к нему в тот же день крестьян с предложением купить у них рыбу. — А я-то было порадовался за вас: пушшай, думал, поторгуют, поправятся, своим умом поживут!

— Пожили своим-то умом, будет, на-агрелись! — ответил ему Парфен Митрич, тот самый седой старик, у которого еще по осени лошадь попала копытом в колесо.

— Скоро же надоело вам, нечего сказать, — с иронией заметил ему Петр Матвеевич.

— Умом-то жить надоть, чтоб в кармане было, а карман пуст — так не поживе-ешь! Брюхо-то заставит по чужой пикуле плясать.

— Нешто вы голодны, на брюхо-то жалитесь, а? — спросил он.

— Сыты бы были, не шли бы к тебе с поклоном! Плакать-то да кланяться, Петр Мат-

веевич, никому не сладко, слезы гонят; — говорил Парфен Митревич, стоя впереди всех.

— Рыба первеющая по губернии, а всё мало, всё голодны, всё плачетесь, народ же вы!

— Жирна рыбка-то, не по нашему рту!

— Приелась? Ну, оно точно, осетрина-то отбивает! — с иронией ответил он, барабаня пальцами по столу.

— И не пробовали!

— А-а!.. так вы испробуйте, и поглянется. Чем без пути; на голод-то жалиться. Вон Иван Николаев, и видать, мужик с умо-ом. "Я, говорит, сам съем", и гляди, в тело войдет! И вам бы, по-моему...

— А-а чтоб ему пусто! — пронеслось вместо ответа в толпе. — Ты и не поминай нам об нем, осерчаем!

— За что б это?

— Подъел он нас, а-а-ах! — всплеснув руками, ответил ему Парфен Митрич. — Не причятя!

— Иван-то Николаев? — с притворным удивлением спросил Петр Матвеевич. — Да чем же, мужик-то он ровно обстоятельный, а?

— Неуж ты не слышал?

— Впервой! — не изменяя себе, ответил Петр Матвеевич.

— Чудно, как это ты не слышал? — с недоверием спросил Парфен Митрич, пристально посмотрев на него. — Наговорил-то он нам много, да без пути, — начал он, — не продавай, говорит, своей рыбы ни по чему Петру Матвееву, установь свою цену, а на его улещенья души не клади. Придет, говорит, сам придет и склонит выю!

— Я-то это? — прервал его Петр Матвеевич.

— Ты... ты нам-то будто, мужикам!

— Гляди ж!.. Хе!.. А вы и послушали?

— Послушали! Опречь нас ему рыбы-то, говорит, негде взять, — продолжал он, — и придет, придет, говорит, и поклонится. И куды это девался у нас на ту пору ум-то, а-а-ах ты, братец мой, а? Не диво ли? Ну, и не продавали, стояли на своем. И торговали ее у нас — упорствовали, и достояли, друг мой, что у иного таперь вместо прибыли-то слезы! Вот он чего поделал с нами, провалиться бы ему!

— И не слыхивал! — прервал его Петр Матвеевич. — Оно точно, я знал, что вы цены-то подняли и стоите на них, да полагал, что вы

сами энто в задор вошли, а чтобы Иван Николаев вас подбил, до меня и слуху не доходило! Так вы все это время и ждали моих поклонов, а?

— И ждали!

— Не-е-е знал, други, а то зашел бы, поклонился бы, и, ей-богу. Что ж, шея б не сломалась, — с иронией произнес, он. — Экое горе-то, а?

— Дождались бы не того исхо на свою голову, — снова прервал его Парфен Митрич, — да пошли бог веку голове да писарю, в разум-то ввели, а то бы, голубь, сел нам Иван-то Николаевич на шею, о-о, сел бы! Твердит одно: беспременно, купит, и пять рублей, говорит, положь — и за пять купит.

— А что, други, вправду-то сказать, он, пожалуй, и верно говорил вам, — начал Петр Матвеевич после непродолжительного раздумья. — Где бы мне, в самом-то деле, купить ее, а? Если бы, как в лонские годы, рыба-то мне понадобилась?.. Ведь негде! Я вам и говорю-то это теперя на тот случай, что меня уж это дело не касающе. Мне не покупать ее, рыбы-то, я и торговать более не хочу ей и заехал-то

будто счесть свести!

Крестьяне, в свою очередь, с недоумением выслушали его, не понимая цели, к которой клонились его слова.

— Не в руку она мне что-то пошла, и-и бои с ней! Бумажным товаром позаймусь, — продолжал между тем Петр Матвеевич, с раздутьем барабана пальцами по столу. — А вам бы, на мой ум, право, не торопиться продавать-то ее, постоять бы исшо за свои-то цены. Придет исшо — не я, так другой кто ни на есть, и поклонится, может, тогда и помянете Ивана-то Николаевича, а и ждать-то многоль? Завтра ярманка, к вечеру, гляди, и в обратный будут собираться.

— Обожди, легко это говорить-то, Петр Матвеевич! — вступился сутуловатый крестьянин, первый поднявший в волости голос против Ивана Николаевича. — Неуж мы, по-своему-то, не смекаем же, что Иван-то Николаевич и прав, пожалуй, да ведь нужна, друг! Ждать-то тогда ладно, когда в кармане не свербит, а ведь завтра ярманка, а мы ей живем, в нее-то и подушную заплатишь, и обуешься, и оденешься, и всякого запаса прику-

пишь! Гляди-ко! — И, подняв ногу, он показал ему прорванный бродень. — А ведь их купить надоть, а на чего купишь-то? Спроси, есть ли у кого в миру-то хоша медный грош за душой, а? И продашь, продашь задешево ее, только купи-и, нужда-то не терпит! Иной уж слезми от нее обливается, а у иного, то ись, и хлеба-то нет, как у меня вот, а семья, семья, семья, сизый... Все пить, есть хотят! И у хлеба сидим, не погневим бога, да хлеб-то энтот не по нас; неуж ты думаешь, и мы бы не поели рыбки-то? Поели б, и как бы ишо поели. От сладкого-то куса никто рот не отворотит, да вот ты съешь-ко ее, испробуй, так чем подушную-то справишь? Чем по домашности дыры-то заткнешь? А много дыр-то, о-ох, много! Успевай только конопатить! Иной бы и в город чего свез, нашлось бы, по домашности-то, да куды повезешь-то? Триста-то верст отмерить на одной-то животинке — нагреешь ноги, и без пути нагреешь-то их; что и выручишь, все на прокорм тебе да лошадушке уйдет, а домой-то сызнава приедешь ни с чем и проездишь-то немало время, а кто робить без тебя дома-то будет? А ведь домашность тоже не ждет, иное

время час дорог. Вот и суди мужичье-то дело. А ты лучше помоги нам, купи-и, век за тебя богомольщики-то! — заключил он.

— И рад бы, Ермил Васильич, помочь, верю я вам, — ответил ему Петр Матвеевич, — да, вишь, торговать-то рыбой не хочу боле; в лонские-то годы, сам знаешь, за мной дело не стояло, пе-е-ервой был покупатель-то!

— И, напасть! — прервал его Парфеи Митрич, всхлопнуз руками по бедрам. — Да не-ет, это ты балуешь, пужаешь только нас, что не покупаешь рыбы-то, а? — И он посмотрел на него с выражением мучительного беспокойства в лице.

— Не маненькой я, Парфен Митрич, в темную-то играть! — заметил ему Петр Матвеевич. — Да что, рази опричь меня некому продать-то ее, а-а? — спросил он.

— Было бы кому, и не докучали!

— Эвон сколь народу наехало, да некому, а-а-ах ты, седой статуй!

— Не ахтителный народ-то!

— О-о! Чем же? Народ все с деньгой!

— В карманах-то не шарили, может и с деньгой, да мелошники.

— На свал-то не берут?

— Про свою пропорцию купили, одно и поют.

— Ну, это горе! — ответил Петр Матвеевич.

— Всплачешь!

— Помочь-то вам чем бы, это как на грех, ровно я и денег-то с собой не захватил, — говорил он, задумчиво глядя в угол, — право, грех, да у Силантия-то Макарыча вы были? — спросил он.

— Были, не обошли!

— А-а! Он-то чего же говорит?

— Накупился!

— Успел!.. Ну, да кулак-мужик, своего не упустит. А вы к Терентию Силину сходите, может, он!

— Сходи-ко поди! Вза-ашей посулил!

— А-а-ах-ха-ха-а! Да он, ровно, тихий мужик-то?

— Все они тихие... Ходи, говорит, около, а за порог ни-ни. Потому, говорит, ты ломался, так таперя я поломаюсь. Моя льгота!

— Э-эх-хе-хе! Ну-у! А вы к Прокопию Истомину сбегайте, он мужик денежный, и дела у него ноне с рыбой форсисто идут — купит.

Парфен Митрич вместо ответа махнул рукой и, отвернувшись в сторону, почесал в затылке.

— Неуж и у него были? — насмешливо спросил Петр Матвеевич.

— И-и как, то ись, эких людей земля носит, а-ах ты, братец мой! — вместо ответа произнес Парфен Митрич, всплеснув руками.

— И у него выходили?

— Выходили! — повторил он, мотнув головой, — в патрет мне плюнул, слышь, да поднял с полу ошметок валящий. На, утрись, говорит... Слыхал ты экое поруганье, а? — спросил он.

Петр Матвеевич, даже не дослушав его, закатился веселым, порывистым смехом.

— Ай-ай... дело-то ваше, а? — сяроеил он, когда смех его стих. — Пожалуй, что своим-то умом и худо жить, а? — спросил он.

— Убытошно, а-а-ах как убытошно! — ответил Парфен Митрич.

— К кому боле и натолкнуть-то вас, ве знаю, подождите: ужо вечером-то завтра я в обратный поеду, так поговорю кому ни на есть в городе, может и взыщутся охотники и

приедут скупать-то ее.

— У-утешил!.. — И Парфен Митрич всхлопнул руками по бедрам.

В толпе пробежал тяжелый вздох.

— Поразорись ты, купи ее, ведь ты балуешь, что денег-то у тебя нет, — вступился Ермил Васильич. — Не ломайся!

— О вас же радею, а ты мне экое слово выворотил, а? — произнес Петр Матвеевич тоном, внезапно изменившимся из шутливого в суровый, бесчувственный.

— С горя-то не услышишь, как и слово-то обронишь, прости, коли в обиду! — извинился он.

— А кто горю-то причинен, ну-ко?

— Не вспоминай, а-ах, будь оно...

— Невзлюбилось... ха-ха-а... Зато своим умом пожили, а?

— Пожили, чтоб его...

— И чать это вы ума-то понабрались, возмечтали о себе, а-а? — презрительно прервал его Петр Матвеевич,

— Не смейся хошь ты-то, ну-у...

— Я-я, то ись, ни-ни... Я говорю только, любопытно бы, как это возмечтамши-то вышли?

То ись таперя, к примеру, сидит бы это мужик, к слову говоря, в рваных броднях, на полушубке швы лыком строчены, и вдруг бы это торгующий, ну хоша бы я, недалеко ходить, в лисьей бы шубе, бобер на шапке, денег в карманах что омуля по весне, и мужику-то бы это в ноги. А-а-ах, ха-ха-ха-а!

И, отслонившись к стене, Петр Матвеевич разразился неудержимым хохотом; взрывы его до того были сильны, что порою походили на истерическое рыдание.

Крестьяне стояли молча, понутив головы.

— Ну что ж, пришел я кланяться-то вам, а? — спросил он, отирая с глаз слезы, набежавшие от нервного хохота.

— Мужичью-то работу кланяться никто на свою спину не возьмет, Петр Матвеевич, — тоскливо ответил ему Ермил Васильевич.

— А-а, таперя и смирения накиннули, на другой голос запели, да ведь вы же даве говорили, что поклонов моих ждали, а? Что ж, кто кому выю-то склонить пришел, а-а? И мужики вы, мужики! — с расстановкой начал он, презрительно качая головой. — С чего вы это ум-то показывать вздумали, а? Да нешто

мужичье это дело умом-то жить? И почише-то вас кто, так голова от энтакой фантазии преет, а то мужики, а?.. Чье дело в назмеряться, робить без устани, чтобы кормить преизвышенных фортуной? Умом захотели жить, а-а-ах, ха-ха-ха-а! И перед кем же вы вздумали ум-то показывать, ломаться-то, а? Ты вот нищ, ни-ищ, чем ты и выглядишь, так истертого гроша никто не даст, а я-то кто, а-а?.. Тыщцник... Пойми слово-то: ты-ыщцник! На твоей голове волос столько нет, сколь у меня капиталу, да пошел бы я кланяться вам, а-а-ах, ха-ха-ха-а! О-о-ох, тошнехонько! — проговорил он, схватившись за левый бок. — Ну, что ж вы таперя с рыбой-то вашей будете делать, а? — начал он, отдохнув от схватывавших его колик. — Самим есть — брюхо, говоришь, непривышно, неравно тело нагуляешь, а волостные лозьем сдерут... за подать. Продать некому, ну и что ж ты, а-а? Должон ее обратно в воду кинуть?

И, подбоченившись, Петр Матвеевич впился в них нахально-насмешливым взглядом.

— Гре-ех бы тебе над бедностью-то нашей глумить, Петр Матвеевич! — со вздохом, пока-

чав головой, ответил ему Ермил Васильевич.

— Над бедностью-то и глуми. Богатый-то завсе сам себе господин, его никто, не тронет! Ты вот наживи-ко капиталу, так и тебе всякий за твой ум честь отдаст, и ты будешь вразумлять... Поколь кто беден, так его вводи в чувство-то, в покорность-то, в покорность-то в эту!

— Покорились уж, плачем! Чем ругать-то, ты б слезы-то наши уте-ер! — ответил ему Парфен Митрич, в голосе которого действительно слышались слезы.

— Плакущим-то всем не утрешь — много их на белом свете слоняется!

— Ну, горше-то мужика...

— И энто слыхивали! — прервал его Петр Матвеич. — А ты поновой чего ни на есть скажи, куда вот ты, к примеру, с рыбой-то?

— К тебе одно пристанище!

— А-а... стал... быть, спесь-то повылезла, вспомнили, как и у Петра Матвеева дверь отворяется, а раньше-то вы и плевать на нее не хотели: что ж я теперь должен с вами-то сделать, а?

— Облагодетельствуй!

— По писанию, стало быть, добром за зло, а?.. Кланяйся вот в ноги, и облагодетельствую. Мне вот и не надоть вашу-то рыбу, а снизойду и куплю!

— А-а-а-ах, братец, снизойди... Сделл-милость!

— Я нешто с тобой из одной утробы-то? — строго спросил он обмолвившегося Парфена Митрича.

— К слову, не погневись!

— Ты оглядывай свое-то слово. Я с тобой вот, то ись, и на одну-то половницу не стану! Ты кто есть?

— Хрестьянин!

— А я купец, гильдию ношу... почет... так могу ль я с тобой равняться-то? Я вот и разговариваю единственно по доброте!

— Пошли тебе господи!

— Погляжу, как вы укротились духом. Кланяйтесь-ко!

И он горделиво посмотрел на них, вытянув вперед ноги.

— Поклонимся, братцы, что ж? — обратился Ермил Васильевич к остальным стоявшим за ним крестьянам. — Снисходит к нашей-то

нужде, пошли ему господи.

Все молча замялись с ноги на ногу, кое-кто почесал в затылке, а у иного непроизвольно вырывался тяжелый вздох.

— А ты как рыбку-то у нас, по какой цене возьмешь? — неожиданно спросил его Парфен Митрич.

— Ты допрежь себе снисхожденье-то вымоли, а не об этом разговаривай: твоей-то рыбы мне и не надоть, я исшо об этом подумую, купить аль нет, слышал ли?

— Ты уж сделл-милость, не обидь.

— Энто уж мое дело, подумую!

— Будь по-божьи друг. Я и спросил-то боле, чтоб, значит, за один поклон обстоять!

— А-а, дважды-то не хошь?

— Прикажешь, и дважды поклонисься, ничего не поделаешь. И низко тебе это кланяться-то?

— По щиколку![5]

— Поклонишься и по щиколку, ничего не поделаешь, — как бы про себя с раздумьем произнес Парфен Митрич. — А-ах, Иван Николаич, уготовил иго, а все бы о цене-то, друг! — промолвил он. — Ну да уж поклонимся, брат-

цы, поклонимся! — произнес он, обратившись к толпе так же, как и Ермил.

Ни один земной владыка так горделиво не принял бы отдаваемых ему почестей, как принял их Петр Матвеевич от унижающихся бедняков.

— Поняли ль теперь мою-то науку, а? — строго спросил их Петр Матвеевич после окончания поклонов.

Все замялись и молча робко посматривали друг на друга.

— Как же я теперь должен торговаться-то с вами, ведь вы таперя во-о где сидите у меня все! — произнес он, показав им сжатый кулак. — Захочу я — и сыты будете, не захочу — и будете помнить, каково с Петром Матвеевичем шутки шутить! Три гривны с пуда на свал, а-а? — И, весь избоченившись, он прищурил глаза и, медленно отбивая такт ногой, смотрел, какое впечатление произвела на них речь его.

— Не пужай хошь для бога-то! — ответил ему Парфен Митрич, заискивающим взглядом смотря на него.

— А не пужаю если, и отдашь?

— Отдашь, а-ах, и разоришься, да отдашь! — согласился он.

— Почувствовали таперя, что я такое?

— Пожалуй, что почувствовали, а-ах, чтоб ему... эфтому Ивану Николаеву. Ну-у, будем помнить, почувствовали! — снова повторил он.

— И помни, я вот и разорить тебя могу, а не зорю... душа есть... я вот тебе полтину даю, снисхождение, ли?

— Снисхождение, дай тебе господи, а все бы, души-то во спасенье, семь гривенок положить бы надоть, а?

— Рубь не хошь ли?

— Не дашь ведь рубля-то, так только язык точишь, а помолились бы а-ах как! И денно бы и ноцно на молитве!

— Ну, молитвы-то энти до другого разу запаси, а ноне и за полтину благодарствуй.

— И за семь бы гривен помолились, и ей-богу. Мало полтины-то, сизый. Дыр-то много, попробуй-ко заткнуть-то их все из полтины, для бога-то хоша положь семь гривенок...

— Каждому-то для бога расточать, и карма-на не напасем, а мало тебе — я и не навязы-

ваюсь. От щедрости бог ослобонил, ешь ее сам! — И, отвернувшись от них, Петр Матвеевич монотонно забарабанил по столу.

— Не человек ты, однако! — всплеснув руками, произнес Парфен Митрич.

— Обознался... Самый по образу и подобию...

— Не умолишь тебя никакой слезой...

— И не утруждайся... Не икона! Добр ли я вот, по вашему-то понятию? — спросил он после непродолжительного молчания, искоса поглядывая на них.

— Взыщи тебя, господи! Одно слово.

— Я вот не разоряю, я вот шесть с пятаком надкидываю, довольно ли?

— Не далеко уж до пяточка-то: надбавь, с добродетели-то сжапись! — ответил ему Парфен Митрич.

— И все вы в бесчувствии! Все мало!

— Нужа, родной, а-ах, нужа! Нашему брату и копейка дорога, не токмо пятак!

— А ко мне, по-твоему, пятаки-то сами в карман плывут, а?

— Сравнял! Твое дело и наше! Ты купец, куда ни шагнешь — все деньги, а наше-то де-

ло: где постоишь, и тут протаает!

Петр Матвеевич снова отвернулся я задумчиво посмотрел в угол.

— Надо бы вас поучить исшо, да уж стих-то прошел, укротился я! — вскользь заметил он.

— Поучил, чего исшо надоть? Понюхали, чем от сапог-то пахнет! — также заметил ему и Ермил Васильевич.

— То-то, мало, говорю, нюхали-то, надоть бы исшо, в обонянии чтоба было! Ну, дам я вам пятак, надкину, что ж вы-то мне, чем за это оплатите, а?

— В ноги... от мужика одна плата!

— А ты говоришь, пахнет? — с иронией спросил он.

— Понюхаешь и вторительно... Нужа-то заставит!

— И только что понюхаешь, будто боле и ничего, а?

— Господи, да чего ж тебе исшо надоть? Ругал, ругал, исшо мало, ты пожалей, ведь и мы люди! — вмешался Парфен Митрич. — И в нас ведь душа...

— А на будущий год вы сызнава за энти песни, а? Сызнава будете ум показывать? —

спросил он.

— Живы ли исшо будем!

— Ну коли жив-то будешь?

— Ум-то показывать? — переспросил Парфен Митрич. — Нет, пожалуй, что не мужичье дело!

— И завсегда это памятуйте!

— Оборони господи! И без ума мужику горе, а с умом вдвое, особливо учителя-то...

— Не потакают, а-ах-ха-ха-а!.. Ну, так вот за то, что будто я вас уму поучил, дайте-ко мне подписку, что обязуетесь на будущий год продать мне всю вашу рыбу по моим ценам, а?

— Подписку-то? — И, почесав в затылке, Парфен Митрич вопросительно посмотрел на остальных.

— А ты не обидишь? — спросил Ермил Васильевич.

— Какой стих найдет!

— А-а-а! боязно... Эк-то?

— Ты только будь в покорстве, а от меня... окромя добра... поняли?

— О-ох... оно... что ж, как, други? — обратился он к остальным. — И задаточку дашь? — снова спросил он Петра Матвеевича.

— Снабжу!

— Пошли ему господи, други, ей-богу!.. добрый он! — говорил, обратившись к толпе, обрадованный Ермил Васильевич. — Дай тебе господи! — откликнулись на слова его и остальные, и на истомленных, за час до того убитых лицах засияла радость.

Щедрую рукою дал им Петр Матвеевич задаток и часть денег, причитающихся за скупленную на свал рыбу до развеса ее. И взяли они задаток, не думая о будущем: да им ли, жившим день за день, было думать о будущем?

В тот же вечер Роман Васильевич утвердил своею печатью составленное условие между Петром Матвеевичем и крестьянами, где были приписаны услужливым Борисом Федорычем непонятные для последних слова: "а в случае неустойки или упорства нас, нижепоименованных, волен он, Вежин, искать все свои убытки с нашего имущества, за смертью же или неустойкою кого-либо из нас, он волен искать свои убытки с нас, взаиморучателей".

Когда Мирон Игнатьевич и Семен пришли

из балагана к вечернему чаю, Петр Матвеевич молча подал Мирону Игнатьевичу составленное им условие.

— Учись, Семка, у дяди, поколь жив он! — с улыбкой обратился Мирон Игнатьевич к Семену после прочтения условия. — С энтакой наукой большие палаты наживешь... бо-ольшие!

Лицо Петра Матвеевича дышало горделивым довольством. Лучшей похвалы для него и не могло быть.

-

Наступил и день открытия ярмарки. После молебствия на площади и водосвятья раскрылись балаганы, показав сложенные в них богатства. На иных взвились флаги, и густые толпы народа, одетого по-праздничному, рассыпались по рядам. И каких только костюмов не мелькало в этих шумно волнующихся массах: и теплая без разреза малица,[6] с такою же шапкой и сапогами — остроумное изобретение остяка, — и белые малки,[7] узорно вышитые цветною шерстью на спине и на полах, и овчинные тулупы, одетые вверх мехом,

и суконные зипуны. Матерчатые, ярких цветов кацавеи на женщинах и шубки, опоясанные алыми кушаками, еще более разнообразили эту и без того пестреющую всевозможными оттенками картину, обливаемую яркими солнечными лучами. Неумолкаемо несшийся говор и хохот, иногда покрываемый резким визгом скрипки или гармоники, звон колокольцев и бубенчиков на лихих тройках, заложенных в розвальни, с гиком носившихся по улицам, хоровые песни катавшихся в них девушек и парней, сливаясь в один общий нестройный гул, напоминали скорее прибой волн о прибрежные скалы, чем человеческую речь.

У балаганов, где шел оживленный торг, кипела разнообразная, полная наивного юмора жизнь, того юмора, которым так богата натура русского простолюдина, где вместе с детским мирозерцанием его, и незлобивой шутливостью сливается и логический ум и трезвый опыт, выносимый из многострадальной жизни. Порою в воздухе быстро мелькал аршин с наматываемым на него ситцем, но расходилась за копейку цена, и торговец с ру-

гательством складывал снова в кусок отмеренный ситец, а покупательница, прищелкивая орехи, флегматично отговаривалась на укору его: "Поробь-ко с мое, и на копейку оглянешься!" У одного из балаганов пожилой мужичок более часу вытягивал сыромятные ремни наборной сбруи, пробуя упругость их и на колене и зубом, и, все еще не убеждаясь в крепости, на все уверения торговца приговаривал: "На жернове, брат, не выдержит!"

Из каждого балагана слышался пробный звон колокольчиков, покупаемых под дуги, щелканье ружейных замков, тупой звон кастрюль, происходящий от стука в днища их, или тонкое дребезжание чайников и чашек, кидаемых торговцами на прилавок в удостоверение прочности их пред покупателями, у которых разбегались глаза на сверкающие перед глазами их товары. Иной и ничего не покупал, а все-таки теснился у прилавка, примеривая на свою голову различные шапки и шляпы, прицениваясь и к сапогам, и к рукавицам, и ко всему, на что глаза глядели, — и, махнув рукой с видом недовольства, уходил к соседнему балагану, где повторялись те же

сцены.

Мирон Игнатьевич терпеливо уверял молодую, довольно красивую женщину в прочности торгуемого ею шерстяного платка.

— Ты, молодка, энтот плат-то и в тыщи годов не выносишь! — говорил он, пока она с боязливой нерешительностью мяла его в руках; — нить-то у него во-о-лос, без сумления! Что те, молодчик? — обратился он к подошедшему крестьянину, облокотившемуся на прилавок. — Что, говорю, покупаешь? — снова повторил он.

— Я, брат, струмент выглядываю, да чтой-то нет, ровно, экаго! — ответил он, зорко оглядывая полки.

— Плотничный аль кузнечный струмент-то? — спросил он. — Не сумняйтесь, молодка, то ись за верное говорю... вещь... статья! — обратился он к молодежи. — Какой струмент-то, спрашиваю, званием-то?

— Имя-то его, подь оно к богу, твердил, твердил... да провались оно...

— Мастерства-то ты какого?

— Столяр! Избы рублю по деревням-то!

— Рубанок?

— Сказал... хе... Этот струмент я лонского года у городского мастера видел, не здешний, он сказывал! Вертит, вертит, да ах ты, братец, ну и струме-ент!

— Напарье, коль вертит!

— О-о! Напарье! Этот струмент... слово... имя-то вот, подь оно, и твердил!

— Что ценой-то? — прервала его молодица, ощупавшая и тщательно осмотревшая платок со всех сторон к свету.

— Без лихвы, красавица, полтора рубля! Самую свою цену и, ей-богу, себе дороже: уж так единственно за прелесть твою!

— О-отступишь, за экой-то плат?

— Без износа, лебедка, по-о гроб жизни и деткам впридачу!

— Восемь гривен! — произнесла она.

Мирон Игнатьевич молча сложил платок и, не обращая внимания, отложил его в сторону.

— Видом-то, говорю, каков струмент-то? — снова обратился он к крестьянину.

— То ись как бы это тебе, братец, как шило, говорю, и с такими это фигурами, а-ах ты, черт возьми, и в кою сторону ты им не верни,

все фигура, — объяснил он.

— Продаешь, что ль? — прервала его молодница, все еще продолжавшая стоять в раздумье.

— Дешево покупаешь, только домой не носишь! — ответил он. — Хошь купить, вот те рубль тридцать — последнее слово!

— И-и, так шило, говоришь?

— Шило, шило, совсем шило!

— Нету этого!

— И вижу, что нет! Не видать, как ни приглядываю, а струмент, как ни изловчись им, — все фигура!..

— А-а, фигура?

— Фигура, фигура, друг! И выдумали же, говорю, а? А что бы, к примеру, ты за экой самовар с меня спросил? — указав на среднего формата самовар, стоявший на окраине полки, спросил он.

— Десять рублей!

— Цена же!

— А ты как полагал?

— Ну да, оно, известно, всякому свое! Струмент-то вот этот, братец, а? И твердил званье-то его, лопнуть... и... уж без уступочки за

самовар-то?

— Гривну для почину!

— А-а! Ну, да что говорить, одно слово вещь. Дочку я замуж сооружаю, вот дело-то!

— За кого?

— Вдовый мужик-то, братец, и да вот, поди ты, не пьющий, нет энтого баловства-то за ним! Ну, так бабы-то говорят, вишь, самовар надоть да перину, а я-то, признаться, боле за струментом!

— У тебя деньги-то есть ли? — выслушав его, неожиданно спросил Мирон Игнатьевич.

— Деньги-то? А на что бы это тебе?

— Любопытно бы!

— Не полагай... Мы ноне с деньгой!

— То-то, коли ты для одного разговору, так отваливай, и без тебя много шляющих-то! И ты, молодка, тож не затеняла бы свету, не по праву цена, ну и подь в другое место, вернее будет.

Мужичок, сооружающий замуж дочь, конфузливо почесал в затылке, бесцельно посмотрел в сторону.

— Сторони-ись! — крикнул, оттолкнув их от прилавка, крестьянин средних лет, в но-

вом зипуне, с заломленной на затылок шапкой; в лице его сияло самое веселое довольство. — Видал ты столько денег, а-а? — обратился он к Мирону Игнатьевичу, развернув руку и показывая ему скомканный в ней пучок ассигнаций. — Много?

— Не считал, — отвечал он.

Вслед за ним из-за угла быстро вывернулась молодая красивая женщина и, подхватив его под руку, с силой оттащила от прилавка. Повернувшись к Мирону Игнатьевичу, увлекаемый, среди общего хохота сидельцев и толпившихся у балаганов крестьян, только кивнул ему головою и крикнул: "Знай!"

— Ай, баба! А-ах-ха-ха-а! Как она его! — прыснул седой как лушь старик в поношенной малке и, всплеснув руками, даже присел от удовольствия. — Ну-у, а что, купец, у вас в городах-то есть экие бабы? — наивно обратился он к Мирону Игнатьевичу.

— Худой-то посуды везде много! — ответил тот.

— И ей-богу! А-ах, как ты верно это, ну и купец! Давай мне за энто обутки, утрафил ты мне энтим словом-то.

— По зубам дать, помягче, аль пофорси-
стей, кожаные с подбором? — спросил он.

— Свистун у меня, люби его бог, ноготь
экой, в палец растет! — пояснил он.

— И с ногтем исшо, а-ах ты, старый! Гля-
ди-ко!

— С ногтем! А ты как бы думал? — говорил
он, ощупывая поданные ему Мироном Игна-
тьичем кошомные валенки. — А жидковаты
ровно? — спросил он.

— Внуцаты доносят, — не ты!

— А робят-то что ись не было, вот, друг, бо-
лезнь какая! — пожаловался он.

— Что ж так обштрафился, а?

— И радел, сердцем радел, — не было! — с
тоскою в голосе ответил он.

— Помочь бы сделал!

— А-а, на ложе-то это? — с удивлением
спросил он.

— Худую-то полосу ведь завсегда помочью
вспахивают, и был бы с урожаем без горя, не
догадался, старый, а? — насмешливо спросил
Мирон Игнатьич.

— Строго-ой я... о-о!

— А-а-а!

— На энти дела... у меня баба в струне.

— А старый, говоришь, а?

— Не диви... хе!.. старый... Ты, к примеру, что за обутки вот возьмешь, а? Мотри только, с меня дешевле бери, старенькой я, убогой!

— Со старенького-то и взять надо дороже! Старому человеку на что деньги; молодому, ну-у, будто девки блазнят, можно спуск дать, а тебе нешто в гроб нести! Ну, да бери уж за семь гривен, что тебя обидеть... И без того бог убил!

— О-ох, убил! Верно! А все гривенку сбрось за божью-то обиду, а?

— Гривенку-то эту чья рука пообидела, та и пошлет!

— Не пошлет!

— Угневил, значит, свечу!

— На свечу-то и выторговываю, снизойди.

— На свечу ли, мотри, старый? Норовишь-то одному богу, а не поставь другому, туда вон, под ельник, а? — спросил он. — Ну, да бери уж за шесть, что с тебя!

Старик, кряхтя, достал ситцевый кисет, истрепанный временем, как и сам он, и, вынув из него пригоршню медных денег, долго пере-

считывал их, внимательно осматривая подслеповатыми глазами каждую монету к свету.

— Все! — произнес, наконец, он, кладя их на прилавок. — Надоть бы вот исшо пятачок с тебя уторговать... ну... будто на слово боек, владай им! — И, махнув рукой, он отошел, бережно укладывая кисет за пазуху.

Крестьянин, торговавший самовар, все время стоял за углом балагана, пережидая ухода старика, и едва тот отвернулся от прилавка, он снова подошел и облокотился на него.

— Более гривенки уступочки с самовара-то не будет, а? — мягким, заискивающим голосом спросил он. — Я бы за восемь-то рублей не постоял!

— И я не постою, коли деньги покажешь! — отвечал ему Мирон Игнатьевич.

— Рази первой разговору деньги-то кажут, а?

— Не инако... потому с покойной совестью будем язык трепать,

— Покажу, не сумняйся!

— Ну... ну... покажи.

— Заведенья-то вот нет, чтобы наперво,

значит, казать-то их. Может, мы и ценой не выговорим!

— Не отниму, твое при тебе будет! Сойдемся — ладно, не сойдемся — прощенья просим, напередки порога не обивай!

— Нехорошо энтó, купец, неуж я бы, к примеру, без денег пошел, а?

— Секунд показать-то, долго ль?

— Обида!

— Никакой, похвала скорей, ишо мужик и на шапке заплаты, и полушубок дыра на дыре; а денежный, энтó по-хвала-а-а!

— Не порядок! — тем же обидчивым тоном ответил он, отодвигаясь от прилавка и избегая глазами насмешливого взгляда, каким провожал его Мирон Игнатьевич.

Пока Мирон Игнатьевич хозяйничал в балагане, на широком дворе занимаемой Петром Матвеевичем квартиры подряженные для доставки рыбы возчики из ближних к Тобольску деревень складывали и упаковывали ее, под наблюдением Семена, в розвальни и пошевни. Более десяти возов были готовы к отправке. И сам Петр Матвеевич, одетый по дорожному, хлопотал на дворе с Авдеем око-

ло повозки, приготавливаясь к дальнейшему объезду деревень по Иртышу и Оби. В то время как Авдей запрягал лошадей, он укладывал в повозку дорожные вещи, упаковывая их в сено.

В это время во двор вошли Кулек и Вялый.

— Зачем бы пожаловали?.. — насмешливо спросил он, увидя их.

— К твоей милости! — ответил Кулек, стоя перед ним без шапки. В наружности Кулька заметно было, что он похудел и как будто съжился.

— Что ж бы это от моей милости требовалось?

— Снабди нас деньжонками, снизойди: у всех людей праздник, только у нас будни, будь ты по-душевному! Ты ж разорил-то нас, гляди, у всех взял рыбу-то по семи гривен, за что ж нас-то по шести рассчитал? Ведь рыба-то у всех одна, из одной реки-то!

— Ты старый-то долг весь мне отдал? — спросил его Петр Матвеич.

— По твоему-то счету исхо в недоимке!

— А по вашему-то как, а?

— По нашему-то весь бы!

— Так ты наперво донеси мне по моему счету, а потом уж я погляжу, как вам добавить по вашему!.. — сухо ответил он.

— Ро-одной, сделл... ты милость!

— С которого боку я те родной-то, а? Ро-одной, а-ах-ха-а! Ты помнишь ли, как ругался-то надо мной, а? Аль это по родству-то? Зачем же таперя к человеку, у которого, по-твоему, честь хуже бабьего подола, кланяться-то пришел, а?

Вместо ответа Кулек только понурил голову.

— Отведал, каково-то, а? Теперь умоли-ко.

— Тебе ничаво, что мы плачем-то, не молитва.

— Поешь ли ты, плачешь ли, мне это все единственно... тьфу! — произнес он, сплюнув на сторону. — Семка! — крикнул он, — неси-ко, подь, подушку да погребец!

Семен быстро побежал в горницу.

— От кого ж мы плачем-то, от тебя же! — угрюмо ответил ему Кулек.

— Эвтакого тирана я б за версту обошел, а ты ко мне же идешь, а?

— И обошел бы, коли б не нужда.

— А-а... нужна-то только гонит... ну, так поголодай, испробуй, а я те не кормилец!

В эту минуту мимо растворенных ворот неожиданно прошел Иван Николаевич. Увидя на дворе Петра Матвеевича и Кулька, стоявшего перед ним без шапки, он остановился.

— Ноне и вдосталь заспесивился, ну-у, и шапки не гнешь? — насмешливо крикнул ему Петр Матвеевич, загребая в сено, в изголовье повозки, принесенный Семеном погребец.

— Не видать никого именитых-то! — ответил он, входя во двор, — а то снял бы!

— А помнится, и мне снимал, а?

— За честь чесью всегда расплачиваются!

— Стало быть, я должен почин-то сделать, снять-то ее, а?

— А для ча и не снять бы? Не слыше нашего брата; что в лисьей-то шубе — так ведь это, Петр Матвейч, дело-то переходчивое: сегодня в шубе, а завтра в той же дерюге — не узнано!

— А ты, ровно, Иван Николаич, покруглей выглядишь: и ей-богу, чать, рыбку почал? — с насмешкой спросил Петр Матвеевич, не обра-

тив внимания на замечание своего противника.

— Пробую.

— И-и скусная, а?

— Отменная: ты б и язык сглонул!

— Ну, давай, давай бог! Проглони-ко лучше свой по спопутью — восте-ер больно!

— Пригодится ко время: пошто глотать!.. я и прикусывать-то его исшо не учился! — совершенно спокойно ответил Иван Николаевич.

— А что, к слову спрошу, по чьим ценам я ноне рыбку-то купил — слыхал, поди? — спросил Петр Матвеевич, насмешливо посмотрев на него.

Иван Николаевич молча сложил на груди руки. Никакой тени неудовольствия не пробежало на открытом лице его от колкого замечания Петра Матвеевича.

— И около ног-то моих чем пахнет, тоже, чать, сказывали тебе, а? — снова спросил Петр Матвеевич.

— Сказывали, а тебе и любо?

— А-ах-ха-ха-а! С дураков-то этаким манером я и сбиваю спесь-то, понял ли? — гордо

осмотрев его, спросил он.

— Понял! — тем же спокойным тоном отвечал тот. — Только растолкуй ты мне, кто из вас дураком-то выглядывал: ты ли, как поклонны-то отбирал, аль мужики?

И Кулек, и Авдей, и Семен, слышавшие ответ Ивана Николаевича, заметили, как кровь прилила к лицу Петра Матвеевича и сузившиеся глаза его сверкнули недобрым светом.

— Неуж тебе чесь, что ты над нищими-то наломался? — продолжал между тем Иван Николаевич. — Молчал бы ты, купе-ец, а не похвалялся! Дураками ты их зовешь, да ведь их нужна дурачит-то, а ты бы спросил у добрых людей, умней ли ты?..

— Ужо, дать рази гривну за дерюжный-то урок! — отмахнув полу лисьей шубы и запустив руку в карман, с иронией произнес Петр Матвеевич, но заметно было, что в иронии его скорее проглядывало смущение, чем насмешка.

— Побереги для себя: придет неравно час, и сам за грошом руку протянешь — стодится! А вот лучше не обидь Кулька-то с Вялым —

ведь ты ж их разорил!

— Что за ходатель ты выискался, а? — крикнул не выдержавший, наконец, Петр Матвеевич. — Ты зачем ко мне пришел, кто тебя звал-то?

— Я без зову, поглядеть только, на сколько ты подрос, от мужичьих-то поклонов.

— Уйди, говорю, слышь: не мозоль моих глаз!

— Опомнись: двор-то не твой!

— Уйди от греха! — И, плюнув с сердцем в сторону, Петр Матвеевич выскочил из повозки, в которой стоял, и спешно ушел в горницу, но до ушей его все-таки долетел смех, каким проводил его Иван Николаевич.

После полудня ярмарка достигла своего крайнего развития. Все чаще и чаще по улицам села встречались крестьяне с нетвердою поступью; иной успел потерять и купленную шапку и рукавицы. Кое-кто прилаживался и на покой у бревен, накатанных у заборов. С выставок, открытых на время ярмарки, давно слетели холщовые пологи, и самые шесты с прибитыми на них елками покачнулись от напора теснившегося народа. Шумней и раз-

гульней становилось ярмарочное веселье, бойчее на слово громкая речь. Порой, как вихрь, неслась по рядам толпа гуляк, с музыкантом впереди, снимая и отбрасывая в сторону все попадавшееся навстречу, и резкая, разноголосая песня их заглушала и хохот провожающих ее крестьян и визг смятых и сшибленных с ног женщин. И далеко за полночь бродил еще по селу разгулявшийся люд, забыв свое горе и нужды, во всех избах виднелись огни, со всех перекрестков неслись неумолкающие песни.

Но с закатом солнца один за другим стали закрываться балаганы, и при свете фонарей в них снова пошла деятельная упаковка товара. И в этот короткий промежуток времени наезжающие торговцы выручают довольно значительные суммы, которые дают им возможность открывать впоследствии обширные магазины в городах и считаться "первостатейными".

ПРИМЕЧАНИЯ

Николай Иванович Наумов (биографическая справка)

Давая оценку творчеству Н. И. Наумова в статье "Наши беллетристы-народники", Г. В. Плеханов писал: "В семидесятых годах Н. И. Наумов пользовался огромной популярностью в самых передовых слоях нашей народнической (тогда еще передовой) "интеллигенции". Его произведениями зачитывались. Особенный успех имел сборник: "Сила солому ломит". Теперь, конечно, времена переменялись, и никто уже не будет так увлекаться сочинениями Наумова, как увлекались ими двадцать лет назад. Но и теперь их прочтет с интересом и не без пользы для себя всякий, кто небеззаботен насчет некоторых "проклятых вопросов". Причину популярности Наумова Плеханов видел в том, что "он, не мудрствуя лукаво, возбуждал чувство ненависти к эксплуататорам, то есть как раз те самые чувства, апелляция к которым составляла глав-

ную, если не единственную, силу народнических доводов".

Наумов талантливо изобразил сибирскую деревню, с ее антагонизмом между задавленной непосильным трудом и нуждой крестьянской массой и деревенской буржуазией — кулаком и торговцем. Мастерски владея народной речью, прекрасно зная положение крестьянства (он его изучал воочию, а не по книгам), Наумов создал целый ряд ярких художественных очерков и рассказов, и по сей день сохраняющих значение первоисточников при изучении быта и экономики дореволюционной Сибири. Лучшие из этих произведений — "Еж", "Юровая", "У перевоза", "Деревенский аукцион" и многие другие — неоднократно перепечатывались в советское время. В 70-е же годы прошлого века произведения Наумова составляли неотъемлемую часть литературы, которой пользовались народники для пропаганды в народе. По отзывам современников, крестьяне охотно слушали рассказы Наумова, ценя в них прежде всего их правдивость, жизненность.

Николай Иванович Наумов (1838–1901) ро-

дился в Тобольске в семье чиновника, человека честного и неподкупного, испытавшего на себе благотворное влияние декабристов, живших в Сибири. Уже в гимназии у Наумова проявляется любовь к литературе и склонность к писательству. Он пишет стихи и прозу, подражая главным образом Лермонтову и Гоголю; "Отечественные записки" и "Современник" Наумов и его гимназические товарищи, по словам одного из друзей писателя, "знали лучше, чем их учитель словесности". Но гимназию Наумов не кончил: у его отца не хватило средств для этого. В 1856 году Наумов поступил в Омске на военную службу, и здесь им был написан первый попавший в печать рассказ "Случай из солдатской жизни" ("Военный сборник", 1859, № 7). Военная служба, однако, вскоре была оставлена. В 1860 году Наумов поступил вольнослушателем в Петербургский университет, но уже в следующем году был из него исключен за участие в студенческих волнениях. В Петербурге Наумов сближается с передовыми людьми, на его отношение к действительности оказывают влияние революционно-демократические идеи. В

1862–1863 годах он помещает обличительные рассказы в "Искре" и в "Очерках", а с момента напечатания в "Современнике" его рассказа "У перевоза" (1863) имя Наумова становится известным.

С 1864 по 1871 год Наумов служит чиновником в Сибири. В эти годы он не пишет, но накопленный запас жизненных впечатлений способствует его успехам в литературе в последующие годы. С 1871 по 1883 год Наумов снова в Петербурге. Одно за другим выходят в свет его произведения. Он печатается в "Отечественных записках", демократических журналах "Дело", "Русское богатство" и др. В 1874 г. народники издают его произведения сборником под названием "Сила солому ломит". В 1881 г. выходит второй сборник его рассказов и очерков — "В тихом омуте", в 1882 — третий — "В забытом краю".

С 1884 г. Наумов снова в Сибири и снова в качестве чиновника. Литературная деятельность его постепенно оскудевает. Сказывается постоянная материальная необеспеченность, усталость. В последние годы жизни писатель был разбит параличом и совсем не мог рабо-

Тать.

ЮРОВАЯ

Впервые опубликовано в журнале "Дело", 1872, № 7, 11. Печатается по последнему прижизненному изданию: Н. И. Наумов. Собрание сочинений в двух томах. Т. I, издание О. Н. Поповой, СПб., 1897.

Об этом произведении Наумова сохранился следующий цензорский отзыв: "В этой статье автор рисует в потрясающих душу картинах дерзкую эксплуатацию крестьянина-бедняка и вместе с тем бесчеловечное глумление над ним же капиталиста-купца. Отношение капитала к труду нашего крестьянина выставлено возмутительным... Почему же богатый мог наломаться над нищим и какие разумные отношения между ними могли быть? На эти вопросы есть ответ в рассматриваемой статье, который и придает ей социалистический характер, а именно: крестьяне были настолько глупы, что не поняли необходимости войти между собой в стачку, к чему их побуж-

дал какой-то Иван Николаевич... Имея в виду социалистические тенденции журнала "Дело" и то, что рабочий вопрос со всякого рода стачками в настоящее время особенно силится поколебать коренные основы общественного порядка, цензор полагал бы, что для журнала "Дело" статья, представляющая гнет и глумление капитала над трудом из-за того, что работник не действует скопом, неуместна, и мнение свое имеет честь представить на благоусмотрение комитета" (С. Кожевников. Н. И. Наумов, Новосибирск, 1952, стр. 4–5).

В этом же цензорском отзыве был приведен следующий отрывок из "Юровой", не вошедший ни в одно печатное издание этого произведения; он шел после слов: "Петр Матвеевич от унижающихся бедняков" (см. стр. 402 настоящего издания), "молча стукавшихся лбами в кошомные сапоги его. И эти возмутительные сцены ежедневно повторяются в этом забитом нуждою мире, — нуждою, подавляющею в человеке всякий проблеск сознания своего человеческого достоинства... И идет своим путем этот, веками установившийся порядок. И проглянет ли когда в этот

темный истрадавшийся мир теплый луч разумной жизни, разумных человеческих отношений, бог весть". (См. Н. И. Наумов, Сочинения, Academia, 1933, стр. 17 и 185.) Несмотря на отрицательный отзыв цензора, "Юровая" была все-таки разрешена к печати с условием изъятия текста, отмеченного цензором. (См. там же, стр. 666.).

Примечания

1

Павозок — большая палубная одномачтовая лодка. (Прим. автора.)

[^^^]

2

Торговый термин: и мелкая и крупная рыба, не разбираемая даже по родам, покупается за одну и ту же цену — обыкновение, очень выгодное для торговцев. (Прим. автора.)

[^^^]

Многим может показаться неправдоподобным употребление в разговоре крестьян церковнославянских слов. Считаю нужным оговорить, что в наречии сибирского крестьянина они часто встречаются. Трудно решить, занесены ли они в него "начетчиками-раскольниками" или являются остатком первобытной формы языка, уцелевшей от позднейших его изменений. Особенно часты в употреблении слова: тать, татьба (воровство), выя, ланита, ложе, яко, паче, блуд, блудодей (развратник или вор, одно и то же) и т. п. (Прим. автора.)

[^^^]

Скворец. (Прим. автора.)

[^^^]

5

Ступня ноги. (Прим. автора.)

[^^^]

6

Оленья шуба с двойным мехом снаружи и внутри. (Прим. автора.)

[^^^]

Оленья шуба с одним мехом внутри. (Прим. автора.)

[^^^]